

И. С.
ТУРГЕНЕВ

НАКАНУНЕ

— * —
Д Е Т Г И З

1949

Школьная Библиотека

И. С.
ТУРГЕНЕВ

НАКАНУНЕ

— ❧ —

государственное издательство
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Министерства Просвещения СССР

Москва — Ленинград
1949

8A (ерос=рус) 1

T87

43 | ОМСКАЯ
ЦБ им. Ленина

МУК "Централизованная
система муниципальных
библиотек г. Омск"

28000-1



тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Куниова, в один из самых жарких летних дней 1853-го года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищутив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе: усы его едва пробились, и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно-изящное в мелких чертах его свежего круглого лица, в его сладких карих глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью — беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, — и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиним, Павлом Яковличем.

— Отчего ты не лежишь, как я, на груди? — начал Шубин. — Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку — вот так. Трава под носом: надоеет глазеть на пейзаж — смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право — так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу — ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены.

Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полшутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфеты), и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность: бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек — царь создания, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет: еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важ-

ничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу. Что ж ты молчишь? А?

— Что?.. — проговорил, встрепенувшись, Берсенев.

— Что! — повторил Шубин. — Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.

— Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенев немного пришепетывал.)

— Важный пущен кблер, — промолвил Шубин. — Одно слово, натура!

Берсенев покачал головой.

— Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.

— Нет-с, это не по моей части-с, — возразил Шубин и надел шляпу на затылок. — Я мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет — разъехалось во все стороны... Пойди поймай!

— Да ведь и тут красота, — заметил Берсенев. — Кстати, кончил ты свой барельеф?

— Какой?

— Ребенка с козлом.

— К чорту! к чорту! к чорту! — воскликнул нарастев Шубин. — Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики¹, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоём носе красота, да за всякую красотой не угоняешься. Старики — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда — бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точкечке, да и караулим. Клюнет — браво! а не клюнет...

Шубин высунул язык.

— Постой, постой, — возразил Берсенев. — Это парадокс². Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоём искусстве не дастся. Если прекрасный вид,

¹ Антики — памятники искусства древней Греции и Рима.

² Парадокс — мнение, резко расходящееся с общепринятым, противоречащее (часто только с виду) здравому смыслу.

прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь...

— Эх, ты, сочувственник! — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенеv заду- мался. — Нет, брат, — продолжал Шубин: — ты умнища- философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту, но я тебе вот что скажу: кроме своего искус- ства, я люблю красоту только в женщинах... в девуш- ках, да и то с некоторых пор...

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову. Несколько мгновений прошло в молчанье. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.

— Кстати о женщинах, — заговорил опять Шу- бин. — Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?

— Нет.

— Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо... Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством бог благословил этого человека — нет, подавай ему Авгу- стину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее ути- ной физиономии! На-днях я вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе¹ — очень вышло недурно. Я тебе покажу.

— А Елены Николаевны бюст, — спросил Берсе- нев: — подвигается?

— Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние притти. Посмотришь: линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут- то было... Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется — только вы- ражение взгляда беспрестанно меняется, а от него ме- няется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульпто- ру, да еще плохому? Удивительное существо... странное существо, — прибавил он после короткого молчанья.

¹ В дантановском вкусе — во вкусе французского скульптора Жана-Пьера Дантана, который прославился бюстами и статуетками, представляющими в карикатурном виде знаменито- стей его времени (30—60-е годы XIX века).

— Да; она удивительная девушка, — повторил за ним Берсенеv.

— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица... Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!

Но «философ» попрежнему ничего не отвечал. Берсенеv вообще не грешил многоглаголением и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по нескольку часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа — все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обесценивало... Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как очарованные, как мертвые, висели маленькие гроздьи желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покосе: он клонил ко сну и будил мечтания.

— Заметил ли ты, — начал вдруг Берсенеv, помогая своей речи движениями рук, — какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это

понимаем и любимся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то-есть, я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?

— Гм, — возразил Шубин, — я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа — та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это, просто, своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему «природа»? Ты послушай сам: любовь! какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!» или нет, — прибавил он: — не Марья Петровна, ну да все равно! Ву ме компренé¹.

Берсенев приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.

— Зачем насмешка, — проговорил он, не глядя на своего товарища, — зачем глумление? Да, ты прав: любовь — великое слово, великое чувство... Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.

— О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил...

— Ото всей души, — подхватил Берсенев.

¹ Ву ме компренé (франц. vous me comprenez) — Вы меня понимаете.

— Ну да, это само собой разумеется; душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено... Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо — все, все вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если б в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если б ты даже глядел *ее* глазами, чувствовал не своим, одиноким, а *ее* чувством, — не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенев наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.

— Я не совсем согласен с тобою, — начал он. — Не всегда природа намекает нам на... любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам: она напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и Жизнь и Смерть — и Смерть в ней так же громко говорит, как и Жизнь.

— И в любви Жизнь и Смерть, — перебил Шубин.

— А потом, — продолжал Берсенев, — когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова¹ рога (Берсеневу стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова), — разве и это...

— Жажда любви, жажда счастья, больше ничего! — подхватил Шубин. — Знаю и я эти звуки, знаю и я то

¹ Оберон — фантастический образ короля эльфов в средневековом фольклоре, неоднократно использованный европейскими писателями. Берсенев имеет в виду популярную оперу того времени «Оберон» немецкого композитора Вебера (1786—1826), либретто которой было написано по одноименной сказочной эпопее в стихах его современника писателя Виланда.

умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастья, я во всем чувствую его приближение, слышу его призыв. «Мой бог — бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! Счастья! Пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Чорт возьми! — продолжал Шубин с внезапным порывом: — мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастье!

Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом глянул вверх, на небо. Берсенева поднял на него глаза.

— Будто нет ничего выше счастья? — проговорил он тихо.

— А например? — спросил Шубин и остановился.

— Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья... Но такое ли это слово: «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

— Да; и их немало; и ты их знаешь.

— Ну-ка? Какие это слова?

— Да хоть бы искусство — так как ты художник, — родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь? — спросил Шубин.

— И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение — любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

— Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

— Номером первым, — повторил Берсенева. — А мне кажется, поставить себя номером вторым — все назначение нашей жизни.

— Если все так будут поступать, как ты совету-

ешь, — промолвил с жалобной гримасой Шубин, — никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

— Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся — всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.

Оба приятеля помолчали.

— Я на-днях опять встретил Инсарова, — начал Берсенеv: — я пригласил его к себе; я непременно хочу его познакомиться с тобой... и с Стаховыми.

— Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философические мысли?

— Может быть.

— Необыкновенный он индивидуум, что ли?

— Да.

— Умный? Даровитый?

— Умный?.. Да. Даровитый?.. Не знаю, не думаю.

— Нет? Что же в нем замечательного?

— Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти. Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?

— Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута... я не даром артист: я на все заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?..

Шубин хотел заглянуть в лицо Берсенеvу, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенеv двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более «порядочным» человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.

II

Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.

— Я бы опять выкупался, — заговорил Шубин, — да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас ма-

нит Древние греки в ней признали бы нимфу Но мы не греки, о нимфа! Мы — толстокожие скифы.

— У нас есть русалки, — заметил Берсенев

— Поди ты с своими русалками! На что мне чаятельно, эти исчадия запуганной холодной фантазии! эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора... Когда же, боже мой, поеду я в Италию? Когда...

— То-есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?

— Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил, как дурак... Добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и...

— Не договаривай, пожалуйста, — перебил Берсенев.

— И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидал там такие типы, особенно женские... Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!

— Ты поедешь в Италию, — проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему, — и ничего не сделаешь! Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь... Знаем мы вас!

— Ставассер¹ полетел же... И не он один. А не полечу — значит, я пингуин² морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу, — продолжал Шубин: — там солнце, там красота...

Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.

— Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота. Привет смиренного художника очаровательной Зое! — крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.

Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:

— Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.

¹ Ставассер П. А. (1816—1850) — русский скульптор.

² Пингуин — пингвин.

— Что я слышу? — заговорил, всплеснув руками, Шубин. — Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решили идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.

— Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, — возразила, не без досады, девушка: — отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь, — прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.

— Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну иступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я несерьезный человек.

Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу:

— Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком, а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.

— О боже! — простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенев усмехнулся молча.

Девушка топнула ножкой.

— Павел Яковлевич! Я рассержусь... Hélène пошла было со мною, — продолжала она, — да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

И она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку¹, мягкие длинные локоны от лица.

Прятели пошли за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы; и, несколько мгновений спустя, очутились перед одной из многочисленных дач, окружающих Кунцово. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовой краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома оказалась дама в лиловом шелковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головою для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.

¹ Митенки — женские полуперчатки без пальцев.

III

Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротой и наследницей довольно значительного имения. У ней были родственники очень богатые и очень бедные; бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князья Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «преlestном розовом платье с куафюрой¹ из маленьких роз». Она берегла эту куафюру... Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты² и выгодно жениться; с первой мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, — и всегда держался того мнения, что нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а

¹ Куафюра — женская прическа или головной убор.

² Флигель-адъютант — офицер, зачисленный в царскую свиту.

когда запретили лото, к ералашу¹. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето 53-го года он не переехал в Куцково: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами — в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его *frondeur*²; это название очень ему понравилось. «Да, — думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, — меня удовлетворить нелегко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово: нервы, и скажет: «А что такое нервы?», или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Все это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодолинде Петерзилиус, называла его *Mein Pinselchen*³.

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила — стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала, что грустила и тихо волновалась. Рождение Глены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей

¹ Ералаш — в данном случае: старинная карточная игра.

² *Frondeur* (франц.) — фрондёр (от «фронда» — дворянско-буржуазное политическое движение против абсолютизма во Франции XVII века); в данном случае: беспокойный, недовольный человек.

³ *Mein Pinselchen* (нем.) — мой дурачок.

было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.

Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать склонность к ваянию; тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера — и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся научиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета с тем, чтобы посвятиться исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходился с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, италиянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным: его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая

еще в молодых годах от чахотки, упростила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание. Он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.

IV

— Пойдемте же кушать, пойдемте, — проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовую. — Сядьте подле меня, Zoé, — промолвила Анна Васильевна, — а ты, Hélène, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Zoé. У меня голова болит сегодня.

Шубин опять возвел глаза к небу; Zoé ответила ему полуулыбкой. Эта Zoé, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепьяно разные, то веселенькие, то чувствительные, штучки; одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уж слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине.

Обед продолжался довольно долго; Берсенева разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенной жадностью, изредка бросая комически-унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все той же флегматической улыбкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад; Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять?», но, не дождавшись ответа, прибавила: «Сыграйте мне что-нибудь такое грустное...»

— La dernière pensée de Weber?¹ — спросила Зоя.

¹ «Последнюю думу» Вебера (франц.).



— Ах, да, Вебера, — промолвила Анна Васильевна, опустила в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.

Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шопотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головою, бормоча и посмеиваясь.

— Опять старые шутки, — произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом.

— Старые шутки, — повторил Шубин. — Предмет-то больно неистощимый. Сегодня особенно она меня из терпения выводит.

— Это почему? — спросила Елена. — Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка...

— Конечно, — перебил ее Шубин, — она хорошенькая, очень хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать: вот бы с кем отлично... польку протанцевать; я также уверен, что она это знает и что это ей приятно... К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать, — прибавил он сквозь зубы. — Впрочем, вы теперь другим заняты.

И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину.

— Итак, вы желали бы быть профессором? — спросила Елена Берсенева.

— Да, — возразил тот, втискивая между колен свои красные руки. — Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого... я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен; но я надеюсь получить позволение съездить за границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда...

Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берснев говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и он еще более пришепetyвал.

— Вы хотите быть профессором истории? — спросила Елена.

— Да, или философии, — прибавил он, понизив голос, — если это будет возможно.

— Он уже теперь силен, как черт, в философии, — заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине: — на что ему за границу ездить?

— И вы будете вполне довольны вашим положением? — спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо.

— Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучшее призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича...¹ Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да... смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело... Я никогда не забуду его последних слов.

— Ваш батюшка скончался нынешней зимой?

— Да, Елена Николаевна, в феврале.

— Говорят, — продолжала Елена, — он оставил замечательное сочинение в рукописи, — правда ли это?

— Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.

— Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?

— Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец, он употреблял выражения не всегда ясные...

— Андрей Петрович, — перебила его Елена: — извините мое невежество, что такое значит: шеллингианец?

Берсенеv слегка улыбнулся.

— Шеллингианец — это значит последователь Шеллинга, немецкого философа, а в чем состояло учение Шеллинга...²

¹ Тимофей Николаевич — Грановский (1813—1855), профессор Московского университета. Публичные лекции по всеобщей истории (40—50-е годы) снискали ему популярность среди прогрессивных слоев русского общества за попытку при обращении к темам средневековья в легальной форме осудить крепостное право и выразить сочувствие угнетенным крестьянам

² Шеллинг (1775—1854) — немецкий философ-идеалист.

— Андрей Петрович! — воскликнул вдруг Шубин. — ради самого бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Поцпади!

— Вовсе не лекцию, — пробормотал Берснев и покраснел: — я хотел...

— А почему ж бы и не лекцию, — подхватила Елена. — Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич.

Шубин уставился на нее и вдруг захохотал.

— Чему же вы смеетесь? — спросила она холодно и почти резко.

Шубин умолк.

— Ну полноте, не сердитесь, — промолвил он спустя немного. — Я виноват. Но в самом деле, что за охота, помилуйте, теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках.

— Да; и о французских романах, о женских тряпках, — продолжала Елена.

— Пожалуй, и о тряпках, — возразил Шубин, — если они красивы.

— Пожалуй! Но если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах.

Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки.

— А, вот как! — начал он неверным голосом. — Я понимаю ваш намек: вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний?

— Я не думала отсылать вас отсюда.

— Вы хотите сказать, — продолжал запальчиво Шубин, — что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так же пуст, и вздорен, и мелок, как эта сладковатая немочка? Не так ли-с?

Елена нахмурила брови.

— Вы не всегда так об ней отзывались, Павел Яковлевич, — заметила она.

— А! упрек! упрек теперь! — воскликнул Шубин. — Ну да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда эти свежие, пошлые щечки... Но если б я за-

хотел отплатить вам упреком и напомнить вам... Прощайте-с, — прибавил он вдруг: — я готов завраться.

И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушел к себе в комнату.

— Дитя, — проговорила Елена, поглядев ему вслед.

— Художник, — промолвил с тихой улыбкой Берсенев. — Все художники таковы. Надобно им прощать их капризы. Это их право.

— Да, — возразила Елена, — но Павел до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки.

Берсенев взял руку Елены и пошел за ней по саду, но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился: Берсенев снова принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее; но речь его текла легко, если не совсем свободно; он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, свиделось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удастся высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполтину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружеских и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то выростало в нем.

Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе. Млечный путь забелел и звезды запестрели, когда Берсенев, протистившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел к двери своего приятеля. Он нашел ее запертою и постучался.

— Кто там? — раздался голос Шубина.

— Я, — отвечал Берсенеv.

— Чего тебе?

— Впусти меня, Павел, полно капризничать; как тебе не стыдно?

— Я не капризничаю, я сплю и вижу во сне Зою.

— Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. Впусти меня. Мне нужно с тобой поговорить.

— Ты не наговорился еще с Еленой?

— Полно же, полно;пусти меня!

Шубин отвечал притворным храпением. Берсенеv пожал плечами и отправился домой.

Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все кругом прислушивалось и караулило; и Берсенеv, охваченный неподвижной мглой, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулил. Легкий шорох, подобный шелесту женского платья, поднимался по временам в верхушках близких деревьев и возбуждал в Берсенеve ощущение сладкое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробегали по его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы: ему бы хотелось выступать совсем неслышно, прятаться, красться. Резкий ветерок набежал на него сбоку — он чуть-чуть вздрогнул и замер на месте; сонный жук свалился с ветки и стукнулся о дорогу; Берсенеv тихо воскликнул: «А!» и опять остановился. Но он начал думать об Елене, и все эти мимолетные ощущения исчезли разом: осталось одно живительное впечатление ночной свежести и ночной прогулки — всю душу его занял образ молодой девушки. Берсенеv шел, потупя голову, и припоминал ее слова, ее вопросы... Топот быстрых шагов почудился ему сзади. Он прикинул ухом... Кто-то бежал, кто-то догонял его — слышалось прерывистое дыхание — и вдруг перед ним, из черного круга тени, нававшей от большого дерева, без шапки на растрепанных волосах, весь бледный при свете луны, вынырнул Шубин.

— Я рад, что ты пошел по этой дороге, — с трудом проговорил он: — я бы всю ночь не заснул, если б я не догнал тебя. Дай мне руку. Ведь ты домой идешь?

— Домой.

— Я тебя провожу.

— Да как же ты пойдешь без шапки...

— Ничего. Я и галстук снял. Теперь тепло.

Прятели сделали несколько шагов.

— Не правда ли, я был очень глуп сегодня? — спросил внезапно Шубин.

— Откровенно говоря, да. Я тебя понять не мог. Я тебя таким никогда не видал. И отчего ты рассердился, помилуй! Из-за каких пустяков?

— Гм, — промычал Шубин. — Вот как ты выразишься, а мне не до пустяков. Видишь ли, — прибавил он: — я должен тебе заметить, что я... что... Думай обо мне, что хочешь... я... ну да! я влюблен в Елену.

— Ты влюблен в Елену! — повторил Берснев и остановился.

— Да, — с принужденной небрежностью продолжал Шубин. — Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До вчерашнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полюбит... Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она полюбила — другого.

— Другого? Кого же?

— Кого? Тебя! — воскликнул Шубин и ударил Берснева по плечу.

— Меня!

— Тебя, — повторил Шубин.

Берснев отступил шаг назад и остался неподвижен. Шубин зорко посмотрел на него.

— И это тебя удивляет? Ты скромный юноша. Но она тебя любит. На этот счет ты можешь быть спокоен.

— Что за вздор ты мелешь! — произнес наконец с досадой Берснев.

— Нет, не вздор. А впрочем, что же мы стоим... Пойдем вперед. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю. Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было время, я ей нравился; но, во-первых, я для нее слишком легкомысленный молодой человек, а ты существо серьезное, ты нравственно и физически обратная личность, ты — постой, я не кончил, — ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми — нет, не которыми — *коми* стель справедливо гордится класс среднего русского дворянства. А во-вторых, Елена на-днях застала меня целующим... руки у Зои.

— У Зои?

— Да, у Зои. Что прикажешь делать? У ней плечи так хороши.

— Плечи?

— Ну да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этих свободных занятий после обеда, а перед обедом я в ее присутствии бранил Зою... Елена, к сожалению, не понимает всей естественности подобных противуречий. Тут ты подвернулся: ты идеалист, ты веришь... во что, бишь, ты веришь?.. ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она же все отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить... и... между тем...

Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы.

Берсенов приблизился к нему.

— Павел, — начал он, — что это за детство? Помилуй! Что с тобою сегодня? Бог знает, какой вздор взбрел тебе в голову, и ты плачешь. Мне, право, кажется, что ты притворяешься.

Шубин поднял голову. Слезы блестели на его щеках в лучах луны, но лицо его улыбалось.

— Андрей Петрович, — заговорил он, — ты можешь думать обо мне, что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена тебя любит. Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и сдержу свое обещание.

Он встал.

— Какая ночь! Серебристая, темная, молодая! Как хорошо теперь тем, кого любят! Как им весело не спать! Ты будешь спать, Андрей Петрович?

Берсенов ничего не отвечал и ускорил шаги.

— Куда ты торопишься? — продолжал Шубин. — Поверь моим словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а дома ждет тебя Шеллинг. Правда, он сослужил тебе сегодня службу; но ты все-таки не спеши; пой, если умешь, пой еще громче; если не умешь, сними шляпу, закинь голову и улыбайся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя: звезды только и делают, что смотрят на влюбленных людей, — оттого они так прелестны... Ведь ты влюблен, Андрей Петрович?.. Ты не отвечаешь мне... Отчего ты не отвечаешь? — за-

говорил опять Шубин. — О, если ты чувствуешь себя счастливым — молчи, молчи! Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусник, артист, фигляр; но какие безмолвные восторги был бы я в этих ночных струях, под этими звездами, под этими алмазами, если б я знал, что меня любят!.. Берсенеv, ты счастлив?

Берсенеv попрежнему молчал и быстро шел по ровной дороге. Впереди, между деревьями, замелькали огни деревеньки, в которой он жил; она вся состояла из десятка небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под двумя развесистыми березами находилась мелочная лавочка; окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса света падала веером из растворенной двери на притоптанную траву и била вверх по деревьям, резко озаряя беловатую изнанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином; из-под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой у подбородка, едва виднелась ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили в полосу света... Шубин глянул во внутренность лавки, остановился и кликнул: «Аннушка!» Девушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с веселыми карими глазами и черными бровями. «Аннушка!» повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла через дорогу налево. Лавочник, человек пухлый и равнодушный ко всему на свете, как все загородные мелочные торговцы, крикнул и зевнул ей вслед, а Шубин обратился к Берсенеvu со словами: «Это... это, вот видишь... тут есть у меня знакомое семейство... так это у них... ты не подумай...» и, не докончив речи, побежал за уходящей девушкой.

— Утри, по крайней мере, свои слезы! — крикнул ему Берсенеv и не мог удержаться от смеха. Но когда он вернулся домой, на лице его не было веселого выражения; он не смеялся более. Он ни на одно мгновение не поверил тому, что сказал ему Шубин, но слово, им произнесенное, запало глубоко ему в душу. «Павел ме-

ня дурачил, — думал он, — но она когда-нибудь полюбит... Кого полюбит она?»

У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хотя и не совсем чистым тоном. Берсенов присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке, и, как почти все русские дворяне, играл очень плохо; но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается (симфонии и сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а ее стихию: любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлющие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно, много раз повторяя одни и те же аккорды, нелепо отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах¹. Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнились слезами. Он не стыдился их: он проливал их в темноте. «Прав Павел, — думал он, — я предчувствую: этот вечер не повторится». Наконец он встал, зажег свечку, накинул халат, достал с полки второй том *Истории Гогенштауфенов, Раумера*² — и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.

VI

Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в прошедшем дне. Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была высокого, лицо имела бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окружен-

¹ Септима — музыкальный термин: седьмой тон от основного тона

² «История Гогенштауфенов и их времени» — работа немецкого либерально-буржуазного историка Ф. Раумера; появилась в 20-х годах XIX века. Гогенштауфены — немецкая княжеская фамилия, представители которой были императорами Священной Римской империи (XII—XIII века).

ные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темпорусая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом, что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие; она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с большою бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то посторженная республиканка, бог знает в кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, — а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, — и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу — нелегко давалась ей жизнь.

Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила «докончить» воспитание своей дочери — воспитание, заметим в скобках, даже не начатое скучавшей барыней, — была из русских, дочь разорившегося взяточника, институтка; очень чувствительное, доброе и лживое существо; она то и дело влюблялась и кончила тем, что в пятидесятом году (когда Елене минуло семнадцать лет) вышла замуж за какого-то офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка эта очень любила литературу и сама пописывала стишки; она приохотила Елену к чтению, но чтение одно ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, с невольною важностью, почти с волнением. Все притес-

енные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады, находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей, зато отец очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пошлое нежничанье и уверял, что от собак да кошек в доме ступить негде. «Леночка, — кричал он ей бывало, — иди скорей, паук муху сосет, освобождай несчастную!» И Леночка, вся встревоженная, прибегала, освобождала муху, расклевывала ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая», иронически замечал отец; но она его не слушала. На десятом году Елена познакомилась с нищей девочкой, Катей, и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички — игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши, за кустом крапивы; с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидела и все говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на *всей божьей воле*; с тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым, новым словам, пристально смотрела на Катю, и все в ней тогда — ее черные, быстрые, почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье — казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о божьей воле; думала о том, как она вырежет себе ореховую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков: она однажды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-нибудь из родных в комнату, она дичилась и глядела букой. Однажды она в дождь бегала на свиданье с Катей и запачкала себе платье; отец увидел ее и назвал замарашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся — и страшно и чудно стало ей на сердце. Катя часто напевала какую-то полудикую, солдатскую песенку; Елена выучилась у ней этой песенке... Анна Васильевна подслушала ее и пришла в негодование.

— Откуда ты набралась этой мерзости? — спросила она свою дочь.

Елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала: она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на части, чем выдаст свою тайну, и опять стало ей и страшно и сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго: бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестанно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что ее зовут...

А годы шли да шли. Быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было: изо всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еленой, а с шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем независима; она зажила собственной, своею жизнью, но жизнью одинокой. Ее душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, — а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви — а любить некого!» думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений. Восемнадцати лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки; потрясенный до основания, весь ее организм, от природы здоровый и крепкий, долго не мог справиться: последние следы болезни исчезли наконец, но отец Елены Николаевич все еще не без озлобления толковал об ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихала, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые, невзлетевшие крылья; но эти порывы не обходились ей даром. Как она ни старалась не выдать того, что в ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась в самом ее наружном спокойствии, и родные ее часто были впра-

ве пожимать плечами, удивляться и не понимать ее «странностей».

В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше обыкновенного не отходила от окна. Она много думала о Берсенева, о своем разговоре с ним. Он ей нравился; она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Он никогда еще так не говорил с нею, как в тот вечер. Она вспомнила выражение его несмелых глаз, его улыбки — и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть «в ночь» через открытое окно. Долго глядела она на темное, низко нависшее небо; потом она встала, движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные, похолодевшие руки; потом она их уронила, стала на колени перед своей постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами.

VII

На другой день, часу в двенадцатом, Берснев отправился на обратном извозчике в Москву. Ему нужно было получить с почты деньги, купить кой-какие книги, да кстати ему хотелось повидаться с Инсаровым и переговорить с ним. Берсневу, во время последней беседы с Шубиным, пришла мысль пригласить Инсарова к себе на дачу. Но он не скоро отыскал его: с прежней своей квартиры он переехал на другую, до которой добраться было нелегко: она находилась на заднем дворе безобразного каменного дома, построенного на петербургский манер между Арбатом и Поварской. Тщетно Берснев скитался от одного грязного крылечка к другому, тщетно взывал то к дворнику, то к «кому-нибудь». Дворники и в Петербурге стараются избегать взоров посетителей, а в Москве подавно; никто не откликнулся Берсневу; только любопытный портной, в одном жилете и с мотком серых ниток на плече, выставил молча из высокой форточки свое тусклое и небритое лицо с подбитым глазом, да черная безрогая коза, взобравшаяся на навозную кучу, обернулась, проблеяла жалобно и

проворнее прежнего зажевала свою жвачку. Какая-то женщина в старом салопе и стоптанных сапогах сжалась наконец над Берсеневым и указала ему квартиру Иссарова. Берснев застал его дома. Он нанимал комнату у самого того портного, который столь равнодушно взирал из форточки на затруднение забредшего человека, — большую, почти совсем пустую комнату с темно-зелеными стенами, тремя квадратными окнами, крошечною кроваткой в одном углу, кожаным диванчиком в другом и громадной клеткой, подвешенной под самый потолок; в этой клетке когда-то жил соловей. Иссаров пошел навстречу Берсневу, как только тот переступил порог дверей, но не воскликнул: «а, это вы!» или: «ах, Боже мой! какими судьбами?», не сказал даже: «здравствуйте», а просто стиснул ему руку и подвел его к единственному находившемуся в комнате стулу.

— Сядьте, — сказал он и сам присел на край стола. — У меня, вы видите, еще беспорядок, — прибавил Иссаров, указывая на груды бумаг и книг на полу: — еще не обзавелся, как должно. Некогда еще было.

Иссаров говорил по-русски совершенно правильно, крепко и чисто произнося каждое слово; но его гортанный, впрочем, приятный голос звучал чем-то нерусским. Иностранное происхождение Иссарова (он был болгар родом) еще яснее сказывалось в его наружности: это был молодой человек, лет двадцати пяти, худощавый и жилистый, с впалой грудью, с узловатыми руками; черты лица имел он резкие, нос с горбинкой, иссиня-черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ. Одет он был в старенький, но опрятный сюртучок, вастегнутый доверху.

— Зачем вы с прежней вашей квартиры съехали? — спросил его Берснев.

— Эга дешевле; к университету ближе.

— Да ведь теперь вакансии...¹ И что вам за охота жить в городе летом? Наняли бы дачку, коли уж решились переезжать.

¹ В а к а ц и и (лат.) — каникулы.

Инсаров ничего не отвечал на это замечание и предложил Берсеневу трубку, промолвив: «Извините, папирос и сигар не имею».

Берсенев закурил трубку.

— Вот я, — продолжал он, — нанял себе домик возле Кунцова. Очень дешево и очень удобно. Так что даже лишняя есть комната — наверху.

Инсаров опять ничего не отвечал.

Берсенев затаился.

— Я даже думал, — заговорил он снова, выпуская дым тонкой струей, — что если бы, например, нашелся кто-нибудь... вы, например, так думал я... который бы захотел... который бы согласился поместиться у меня там наверху... как бы это хорошо было! Как вы полагаете, Дмитрий Никанорыч?

Инсаров вскинул на него свои небольшие глазки.

— Вы мне предлагаете жить у вас на даче?

— Да у меня наверху — там есть лишняя комната.

— Очень вам благодарен, Андрей Петрович, но, я полагаю, средства мои мне не позволяют.

— То-есть, как же не позволяют?

— Не позволяют жить на даче. Мне две квартиры держать невозможно.

— Да ведь я... — начал было Берсенев и остановился. — Вам от этого никаких лишних расходов бы не было, — продолжал он. — Здешняя квартира осталась бы, положим, за вами; зато там все очень дешево; можно бы даже так устроиться, чтоб обедать, например, вместе.

Инсаров молчал. Берсеневу стало неловко.

— По крайней мере, навестите меня когда-нибудь. — начал он, погодя немного. — От меня в двух шагах живет семейство, с которым мне очень хочется вас познакомиться. Какая там есть чудная девушка, если бы вы знали, Инсаров! Там также живет один мой близкий приятель, человек с большим талантом; я уверен, что вы с ним сойдетесь. (Русский человек любит потчевать — коли нечем иным, так своими знакомыми.) — Право, приезжайте. А еще лучше, переселяйтесь... к нам, право. Мы бы могли вместе работать, читать... Я, вы знаете, занимаюсь историей, философией. Все это вас интересует. У меня и книг много.

Инсаров встал и прошелся по комнате.

— Позвольте узнать, — спросил он наконец: — сколько вы платите за вашу дачу?

— Сто рублей серебром.

— А сколько в ней всего комнат?

— Пять.

— Стало быть, по расчету, приходилось бы за одну комнату двадцать рублей?

— По расчету... Да помилуйте, она мне совсем не нужна. Просто стоит пустая.

— Может быть; но послушайте, — прибавил Инсаров с решительным и в то же время простодушным движением головы: — я только в таком случае могу воспользоваться вашим предложением, если вы согласитесь взять с меня деньги по расчету. Двадцать рублей дать и в силах, тем более что, по вашим словам, я буду там делать экономию на всем прочем.

— Разумеется; но, право же, мне совестно.

— Иначе нельзя, Андрей Петрович.

— Ну, как хотите; только какой же вы упрямый!

Инсаров опять ничего не ответил.

Молодые люди условились насчет дня, в который Инсаров должен был переселиться. Позвали хозяина; но он сперва прислал свою дочку, девочку лет семи с огромным пестрым платком на голове; она внимательно, чуть не с ужасом, выслушала все, что ей сказал Инсаров, и ушла молча; вслед за ней появилась ее мать, беременная на сносе, тоже с платком на голове, только крошечным. Инсаров объяснил ей, что он переезжает на дачу возле Кунцова, но оставляет квартиру за собой и поручает ей все свои вещи; портниха тоже словно испугалась и удалилась. Наконец пришел хозяин; этот сначала как будто все понял и только задумчиво проговорил: «Возле Кунцова?», а потом вдруг отпер дверь и закричал: «За вами, што ль, фатера?» Инсаров его успокоил. «Потому, надо знать», повторил портной сухо и скрылся.

Берсенов отправился восвояси, очень довольный успехом своего предложения. Инсаров проводил его до двери с любезной, в России мало употребительною вежливостью, и, оставшись один, бережно снял сюртук и занялся раскладыванием своих бумаг.

VIII

Вечером того же дня Анна Васильевна сидела в своей гостиной и собиралась плакать. Кроме ее, в комнате находился ее муж да еще некто Увар Иванович Стахов, троюродный дядя Николая Артемьевича, отставной корнет¹ лет шестидесяти, человек тучный до неподвижности, с сопливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Москве процентами с небольшого капитала, оставленного ему женой из купчих. Он ничего не делал и навряд ли думал; а если и думал, так берег свои думы про себя. Раз только в жизни он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно: он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке: «контробомбардоне», и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и через какую контору? Увар Иванович носил просторный сюртук табачного цвета и белый платок на шее, ел часто и много, и только в затруднительных случаях, то-есть всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: «Надо бы... как-нибудь, того...»

Увар Иванович сидел в креслах возле окна и дышал напряженно. Николай Артемьевич ходил большими шагами по комнате, засунув руки в карманы; лицо его выражало неудовольствие.

Он остановился наконец и покачал головой.

— Да, — начал он, — в наше время молодые люди были иначе воспитаны. Молодые люди не позволяли себе манкировать² старшим. (Он произнес: *ман* в нос, по-французски.) А теперь я только гляжу и удивляюсь. Может быть, неправ я, а они правы; может быть. Но все же у меня есть свой взгляд на вещи — не олухом же я родился. Как вы об этом думаете, Увар Иванович?

¹ Корнет — первый офицерский чин в кавалерийских частях царской армии; соответствовал поручику в пехоте.

² Манкировать (франц.) — небрежно относиться.

Увар Иванович только поглядел на него и поиграл пальцами.

— Елену Николаевну, например, — продолжал Николай Артемьевич, — Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нее не довольно возвышен. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу — до малейшего таракана или лягушки, словом, всё, за исключением родного отца. Ну, прекрасно — я это знаю и уж не суюсь. Потому тут и нервы, и ученость, и паренье в небеса — это все не по нашей части. Но г. Шубин... положим, он артист удивительный, необыкновенный, я об этом не спорю; однако манкировать старшему, человеку, которому он все-таки, можно сказать, обязан многим, — это я, признаюсь, *dans mon gros bon sens*¹ допустить не могу. Я от природы невзыскателен, нет; но всему есть мера.

Анна Васильевна позвонила с волнением. Вошел казачок².

— Что же Павел Яковлевич не идет, — проговорила она. — Что это, я его дозваться не могу?

Николай Артемьевич пожал плечами.

— Да на что, помилуйте, вы хотите его позвать? Я этого вовсе не требую, не желаю даже.

— Как на что, Николай Артемьевич? Он вас беспокоил; может быть, помешал курсу вашего лечения. Я хочу объясниться с ним. Я хочу знать, чем он мог вас прогневать.

— Я вам повторяю, что я это не требую. И что за охота... *devant les domestiques*...³

Анна Васильевна слегка покраснела.

— Напрасно⁴ вы это говорите, Николай Артемьевич. Я никогда... *devant... les domestiques*... Ступай, Федюшка, да смотри, сейчас приведи сюда Павла Яковлевича.

Казачок вышел.

— И нисколько это все не нужно, — проговорил

¹ *Dans mon gros bon sens* (франц.) — при всем моем здравом смысле.

² Казачок — мальчик-слуга из крепостных в дворянском доме; обычно был одет в черкеску или казакки (род кафтана на казачьих, со сборками сзади).

³ *Devant les domestiques* (франц.) — при прислуге.

сквозь зубы Николай Артемьевич и снова принялся шагать по комнате. — Я совсем не к тому речь вел.

— Помилуйте, Раул должен извиниться перед вами.

— Помилуйте, на что мне его извиненья? И что такое извиненья? Это все фразы.

— Как на что? его вразумить надо.

— Вразумите его вы сами. Он вас скорей послушает. А я на него не в претензии.

— Нет, Николай Артемьевич, вы сегодня с самого вашего приезда не в духе. Вы даже, на мои глаза, поухдели в последнее время. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает.

— Курс лечения мне необходим, — заметил Николай Артемьевич: — у меня печень не в порядке.

В это мгновение вошел Шубин. Он казался усталым. Легкая, чуть-чуть насмешливая улыбка играла на его губах.

— Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? — промолвил он.

— Да, конечно, спрашивала. Помилуй, Раул, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать Николаю Артемьевичу?

— Николай Артемьевич вам жаловался на меня? — спросил Шубин и с той же усмешкой на губах глянул на Стахова. Тот отвернулся и опустил глаза.

— Да, жаловался. Я не знаю, чем ты перед ним провинился, но ты должен сейчас извиниться, потому что его здоровье очень теперь расстроено, и, наконец, мы все в молодых годах должны уважать своих благодетелей.

«Эх, логика!» подумал Шубин и обратился к Стахову.

— Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич, — проговорил он с учтивым полупоклоном, — если я вас точно чем-нибудь обидел.

— Я вовсе... не с тем, — возразил Николай Артемьевич, попрежнему избегая взоров Шубина. — Впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человек.

— О, это не подвержено никакому сомнению, — промолвил Шубин. — Но позвольте полюбопытствовать: известно ли Анне Васильевне, в чем именно состоит моя вина?

— Нет, я ничего не знаю, — заметила Анна Васильевна и вытянула шею.

— О, боже мой! — торопливо воскликнул Николай Артемьевич. — Сколько раз уж я просил, умолял... сколько раз говорил, как мне противны все эти объяснения и сисены! В кои-то веки приедешь домой, хочешь отдохнуть, — говорят: семейный круг, intérieur¹, будь семьянином, — а тут сцены, неприятности. Минуты нет покоя. Поневоле поедешь в клуб или... или куда-нибудь. Человек живой, у него физика, она имеет свои требования, а тут...

И, не dokonчив начатой речи, Николай Артемьевич быстро вышел вон и хлопнул дверью. Анна Васильевна посмотрела ему вслед.

— В клуб! — горько прошептала она. — Не в клуб вы едете, ветренник! В клубе некому дарить лошадей собственного завода — да еще серых! Любимой моей масти! Да, да, легкомысленный человек, — прибавила она, возвысив голос: — не в клуб вы едете. А ты, Paul, — продолжала она вставая: — как тебе не стыдно? Кажется, не маленький. Вот теперь у меня голова заболела. Где Зоя, не знаешь?

— Кажется, у себя наверху. Рассудительная сия лисичка в такую погоду всегда в свою норку прячется.

— Ну, пожалуйста! пожалуйста! — Анна Васильевна поинтересовалась вокруг себя. — Рюмочку мою с натертым хреном ты не видел? Paul, сделай одолжение, вперед не сердись на меня.

— Где вас рассердить, тетушка! Дайте мне вашу ручку поцеловать. А хрен ваш я видел в кабинете на столике.

— Дарья его вечно где-нибудь позабудет, — промолвила Анна Васильевна и удалилась, шумя шелковым платьем.

Шубин хотел было пойти за ней, но остановился, услышав за собою медлительный голос Увара Ивановича.

— Не так бы тебя, молокососа... следовало, — говорил вперемежку отставной корнет.

Шубин подошел к нему.

— А за что же бы меня следовало, достохвальный Увар Иванович?

¹ Intérieur (франц.) — в данном случае: домашний уют.

— За что? Млад ты — так уважай. Да.

— Кого?

— Кого? Известно, кого. Скаль зубы-то.

Шубин скрестил руки на груди.

— Ах вы, представитель хорошего начала, — воскликнул он, — черноземная вы сила, фундамент вы общественного здания!

Увар Иванович заиграл пальцами.

— Полно, брат, не искушай.

— Ведь вот, — продолжал Шубин: — не молодой, кажется, дворянин, а сколько в нем еще таится счастливой, детской веры! Уважать! Да знаете ли вы, стихийный вы человек, за что Николай Артемьевич гневается на меня? Ведь я с ним сегодня целое утро провел у его немки; ведь мы сегодня втроем пели: «Не отходи от меня». Вот бы вы послушали. Вас, кажется, это берет. Пели мы, сударь мой, пели — ну, и скучно мне стало; вижу я: дело неладно: нежности много. Я и начал дразнить обоих. Хорошо вышло. Сперва она на меня рассердилась, а потом на него; а потом он на нее рассердился и сказал ей, что он только дома счастлив и что у него там рай; а она ему сказала, что он нравственности не имеет; а я ей сказал: «Ах!» по-немецки; он ушел, а я остался; он приехал сюда, в рай то-есть, а в раю ему тошно. Вот он и принялся брюзжать. Ну-с, кто теперь, по-вашему, виноват?

— Конечно, ты, — возразил Увар Иванович.

Шубин уставился на него.

— Осмелюсь спросить у вас, почтенный витязь, — начал он подобострастным голосом: — эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности или же под наитием мгновенной потребности произвести сотрясение в воздухе, называемое звуком?

— Не искушай, говорят!.. — простонал Увар Иванович.

Шубин засмеялся и выбежал вон.

— Эй! — воскликнул четверть часа спустя Увар Иванович. — Того... рюмку водки.

Казачок принес водки и закуски на подносе. Увар Иванович тихонько взял с подноса рюмку и долго, с усиленным вниманием глядел на нее, как будто не пони-

мая хорошенько, что у него такое в руке. Потом он посмотрел на казачка и спросил: не Васькой ли его зовут? Потом он принял огорченный вид, выпил водки, закусил и полез доставать носовой платок из кармана. Но казачок уже давно отнес поднос и графин на место, в остаток селедки съел, и уже успел соснуть, прикорнувшись к барскому пальто, а Увар Иванович все еще держал платок перед собой на растопыренных пальцах и с тем же усиленным вниманием посматривал то в окно, то на пол и стены.

IX

Шубин вернулся к себе во флигель и раскрыл было книгу. Камердинер Николая Артемьевича осторожно вошел в его комнату и вручил ему небольшую треугольную записку, запечатанную крупною гербовою печатью. «Я надеюсь, — стояло в этой записке, — что вы, как честный человек, не позволите себе намекнуть даже единым словом на некоторый вексель, о котором была сегодня утром речь. Вам известны мои отношения и мои правила, незначительность самой суммы и другие обстоятельства; наконец, есть семейные тайны, которые должно уважать, и семейное спокойство есть такая святыня, которую одни *êtres sans coeur*¹, к которым я не имею причины вас причислять, отвергают. (Сию записку возвратите.) Н. С.»

Шубин начертил внизу карандашом: «Не беспокоюсь — я еще пока платков из карманов не таскаю»; возвратил записку камердинеру и снова взялся за книгу. Но она скоро выскользнула у него из рук. Он посмотрел на заалевшее небо, на две молодые могучие сосны, стоявшие особняком от остальных деревьев, подумал: «Днем сосны синеватые бывают, а какие они великолепные зеленые вечером», и отправился в сад, с тайной надеждой встретить там Елену. Он не обманулся. Впереди, на дороге между кустами, мелькнуло ее платье. Он нагнал ее и, поровнявшись с нею, промолвил:

— Не смотрите в мою сторону, я не стою.

Она бегло взглянула на него, бегло улыбнулась и

¹ *Êtres sans coeur* (франц.) — существа без сердца.

пошла дальше, в глубь сада. Шубин отправился вслед за нею.

— Я прошу вас не смотреть на меня, — начал он, — а заговариваю с вами: противуречие явное! Но это все равно; мне не впервой. Я сейчас вспомнил, что я еще не попросил у вас как следует прощения в моей глупой вчерашней выходке. Вы не сердитесь на меня, Елена Николаевна?

Она остановилась и не тотчас отвечала ему — не потому, чтобы она сердилась, а ее мысли были далеко.

— Нет, — сказала она наконец, — я нисколько не сержусь.

Шубин закусил губу.

— Какое озабоченное... и какое равнодушное лицо! — пробормотал он. — Елена Николаевна, — продолжал он, возвысив голос: — позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец. У меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя, как следует порядочному человеку, а потом запил. Вот однажды, рано поутру, мой приятель встречает его на улице (а уж они, заметьте, раззнакомились), встречает его и видит, что он пьян. Мой приятель взял да отвернулся от него. А тот-то подошел, да и говорит: «Я бы не рассердился, говорит, если б вы не поклонились, но зачем отворачиваться? Может быть, это я с горя. Мир моему праху!»

Шубин умолк.

— И только? — спросила Елена.

— Только.

— Я вас не понимаю. На что вы намекаете? Сейчас вы говорили мне, чтобы я не глядела в вашу сторону.

— Да, а теперь я вам рассказал, как нехорошо отворачиваться.

— Да разве я... — начала было Елена.

— А разве нет?

Елена слегка покраснела и протянула Шубину руку. Он крепко пожал ее.

— Вот вы меня как будто поймали на дурном чувстве, — сказала Елена, — а ваше подозрение несправедливо. Я и не думала чуждаться вас.

— Положим, положим. Но сознайтесь, что у вас в эту минуту тысяча мыслей в голове, из которых вы

мне ни одной не поверите. Что? небось, неправду я сказал?

— Может быть.

— Да отчего же это? отчего?

— Мои мысли мне самой неясны, — проговорила Елена.

— Тут-то их и доверять другому, — подхватил Шубин. — Но я вам скажу, в чем дело. Вы дурного мнения обо мне.

— Я?

— Да, вы. Вы воображаете, что во мне все наполовину притворно, потому что я художник; что я неспособен не только ни на какое дело — в этом вы, вероятно, правы, — но даже ни к какому истинному, глубокому чувству: что я и плакать-то искренно не могу, что я болтун и сплетник, — и все потому, что я художник. Что же мы, после этого, за несчастные, богом убитые люди? Вы, например, я побожиться готов, не верите в мое раскаяние.

— Нет, Павел Яковлевич, я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю; но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже.

Шубин дрогнул.

— Ну, я вижу, это, как выражаются доктора, неизлечимый казус, *casus incircumabilis*. Тут остается только поникнуть головой да покориться. А между тем, господи! неужели это правда, неужели же я все с собой вожусь, когда рядом живет такая душа? И знать, что никогда не проникнешь в эту душу, никогда не будешь ведать, отчего она грустит, отчего она радуется, что в ней бродит, чего ей хочется, куда она идет? Скажите, — промолвил он после небольшого молчанья: — вы никогда, ни за что, ни в каком случае не полюбили бы художника?

Елена посмотрела ему прямо в глаза.

— Не думаю, Павел Яковлевич; нет.

— Что и требовалось доказать, — проговорил с комической унылостью Шубин. — Засим, я полагаю, мне приятнее не мешать вашей уединенной прогулке. Профессор спросил бы вас: а на основании каких данных вы сказали: нет? Но я не профессор, я дитя, по вашим понятиям; но от детей не отворачиваются, помните. Прощайте. Мир моему праху!

Елена хотела было остановить его, но подумала и тоже сказала:

— Прощайте.

Шубин вышел со двора. В недалеком расстоянии от дачи Стаховых встретился ему Берсенев. Он шел проворными шагами, наклонив голову и сдвинув шляпу на затылок.

— Андрей Петрович! — крикнул Шубин.

Тот остановился.

— Ступай, ступай, — продолжал Шубин: — я только так, я тебя не задерживаю, — и проберись прямо в сад; там ты найдешь Елену. Она, кажется, тебя ждет... кого-то она ждет во всяком случае... Понимаешь ты силу этих слов: она ждет! А знаешь, брат, какое удивительное обстоятельство? Представь, вот уже два года, как я живу с ней в одном доме, я в нее влюблен, и только сейчас, сию минуту, не то что понял, а увидел ее. Увидел и руки расставил. Не взирай на меня, пожалуйста, с этой лжеязвительной усмешкой, которая мало идет к твоим степенным чертам. Ну да, разумею, ты хочешь напомнить мне об Аннушке. Что же? Я не отказываюсь. Нашему брату Аннушки подстать. Да здравствуют же Аннушки и Зои, и самые даже Августины Христиановны! Ты ступай к Елене теперь, а я отправлюсь... ты думаешь, к Аннушке? Нет, брат, хуже: к князю Чикурасову. Есть такой меценат¹ из казанских татар, вроде Волгина. Видишь ты это пригласительное письмо, эти буквы: R. S. V. P.² И в деревне мне нет покоя! Addio³.

Берсенев выслушал тираду Шубина, молча и как будто конфузясь немножко за него; потом он вошел на двор Стаховской дачи. А Шубин действительно поехал к князю Чикурасову, которому наговорил с самым любезным видом самых колких дерзостей. Меценат из казанских татар хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было весело, и, расставшись, все злились. Так два малознакомых господина, встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед другом зубы, при-

¹ Меценат — покровитель наук и искусств (по имени богатого римского патриция эпохи Августа).

² R. S. V. P. — первые буквы слов *réponse s'il vous plaît* (франц.), то есть «ответ, пожалуйста».

³ Addio (итал.) — прощай.

торно съезжат глаза, нос и щеки и тотчас же, миновав друг друга, принимают прежнее, равнодушное или угрюмое, большей частью геморроидальное выражение.

X

Елена дружелюбно встретила Берсенева, уже не в саду, а в гостиной, и тотчас же, почти нетерпеливо, возобновила вчерашний разговор. Она была одна: Николай Артемьевич тихонько скрылся куда-то, Анна Васильевна лежала наверху с мокрой повязкой на голове. Зоя сидела возле нее, аккуратно расправив юбку и сложив на коленях ручки; Увар Иванович почивал в мезонине на широком и удобном диване, получившем прозвище: Самосон. Берсенев снова упомянул о своем отце: он свято чтит его память. Скажем и мы несколько слов о нем.

Владелец восьмидесяти двух душ, которых он освободил перед смертью, иллюминат¹, старый гёттингенский студент², автор рукописного сочинения о *Проступлениях или прообразованиях Духа в Мире* — сочинения, в котором шеллингнизм, сведенборгианизм³ и республиканизм смешались самым оригинальным образом, — отец Берсенева привез его в Москву еще мальчиком, тотчас после кончины его матери, и сам занялся его воспитанием. Он подготовлялся к каждому уроку, трудился необыкновенно добросовестно и совершенно unsuccessfully: он был мечтатель, книжник, мистик, говорил с запинкой, глухим голосом, выражался темно и кудряво, все больше сравнениями, дичился даже сына, которого любил страстно. Немудрено, что сын только хлопал глазами за его уроками и не подвигался ни на волос. Старик (ему было под пятьдесят лет, он женился очень поздно) догадался наконец, что дело не идет на лад, и

¹ Иллюминат (буквально: просвещенный) — так называли себя члены тайных обществ масонского типа в России конца XVIII века.

² Гёттингенский студент — студент немецкого университета в городе Гёттингене.

³ Сведенборгианизм — религиозное учение: по имени шведского ученого Сведенборга (1688—1772), впавшего к концу жизни в мистицизм.

поместил своего Андриюшу в пансион. Андриюша стал учиться, но из-под родительского присмотра не вышел; отец навещал его беспрестанно, надоедая содержателю своими наставлениями и беседами; надзиратели также тяготились незванным гостем: он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премудреные книги о воспитании. Даже школьникам становилось неловко при виде смуглого и рябого лица старика, его тощей фигуры, постоянно облеченной в какой-то вострополый серый фрак. Школьники не подозревали тогда, что этот угрюмый, никогда не улыбавшийся господин, с журавлиной походкой и длинным носом, сердцем сокрушался и болел о каждом из них почти так же, как о собственном сыне. Он однажды вздумал побеседовать с ними о Вашингтоне: «Юные питомцы!» начал он, но при первых звуках его странного голоса юные питомцы разбежались. Честный гёттингенец жил не на розах: он был постоянно подавлен ходом истории, всякого рода вопросами и соображениями. Когда молодой Берсенеv поступил в университет, он ездил с ним на лекции; но уже здоровье начинало изменять ему. События 48-го года потрясли его до основания (надо было всю книгу переделать!), и он умер зимой 53-го года, не дождавшись выхода сына из университета, но заранее поздравив его кандидатом и благословив его на служение науке. «Передаю тебе светоч, — говорил он ему за два часа до смерти: — я держал его, покамест мог, не выпускай и ты сей светоч до конца».

Берсенеv долго говорил с Еленой о своем отце. Неловкость, которую он чувствовал в ее присутствии, исчезла, и пришепetyвал он не так сильно. Разговор перешел к университету.

— Скажите, — спросила его Елена, — между вашими товарищами были замечательные люди?

Берсенеv вспомнил слова Шубина.

— Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было между нами ни одного замечательного человека. Да и где! Было, говорят, время в Московском университете! Только не теперь. Теперь это училище — не университет. Мне было тяжело с моими товарищами, — прибавил он, понизив голос.

— Тяжело?.. — прошептала Елена.

— Впрочем, — продолжал Берсенов, — я должен огорчиться. Я знаю одного студента, — правда, он не моего курса, — это, действительно, замечательный человек.

— Как его зовут? — с живостью спросила Елена.

— Инсаров, Дмитрий Никанорыч. Он болгар.

— Не русский?

— Нет, не русский.

— Зачем же он живет в Москве?

— Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какою целью он учится? У него одна мысль: освобождение его родины. И судьба его необыкновенная. Отец его был довольно зажиточный купец родом из Тырнова. Тырнов теперь небольшой городок, а встарину это была столица Болгарии, когда еще Болгария была независимым королевством. Торговал он в Софии, имел сношения с Россией; сестра его, родная тетка Инсарова, до сих пор живет в Киеве, замужем за старшим учителем истории в тамошней гимназии. В 1835 году, стало быть восемнадцать лет тому назад, совершилось ужасное злодеяние: мать Инсарова вдруг пропала без вести; через неделю ее нашли зарезанной.

Елена содрогнулась. Берсенов остановился.

— Продолжайте, продолжайте, — проговорила она.

— Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага¹; ее муж, отец Инсарова, дознался правды, хотел отомстить, но он только ранил кинжалом агу... Его расстреляли.

— Расстреляли? без суда?

— Да. Инсарову в то время пошел восьмой год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участи братниного семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, а оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых двенадцать лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски.

— Он говорит по-русски?

— Как мы с вами. Когда ему минуло двадцать лет (это было в начале 48-го года), он пожелал вернуться на родину. Был в Софии и Тырнове, всю Болгарию

¹ Ага — буквально: старший; всякий начальник, богатый, знатный человек в Турции.

исходил вдоль и поперек, провел в ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти два года подвергался большим опасностям: я раз увидел у него на шее широкий рубец, должно быть след раны; но он об этом говорить не любит. Он тоже, в своем роде, молчаливый. Я пытался его расспрашивать — не тут-то было. Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В 50-м году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими... а потом, когда он выйдет из университета...

— Что же тогда? — перебила Елена.

— А что бог даст. Мудрено вперед загадывать.

Елена долго не спускала глаз с Берсенева.

— Вы очень заинтересовали меня своим рассказом, — промолвила она. — Каков он из себя, этот ваш, как вы его называли... Инсаров?

— Как вам сказать... По-моему, недурен. Да вот вы сами его увидите.

— Как так?

— Я его приведу сюда, к вам. Он послезавтра переезжает в нашу деревушку и будет жить со мной на одной квартире.

— Неужели? Да захочет ли он притти к нам?

— Еще бы! Он очень будет рад.

— Он не горд?

— Он? Нимало. То-есть, если хотите, он горд, только не в том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, займы ни от кого не возьмет.

— А он беден?

— Да не богат. Ездивши в Болгарию, он собрал кой-какие крохи, уцелевшие от отцовского достояния, и тетка ему помогает; но все это безделница...

— У него, должно быть, много характера, — заметила Елена.

— Да. Это железный человек. И в то же время, вы увидите, в нем есть что-то детское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность — не наша дрянная искренность, искренность людей, которым скрывать решительно нечего... Да вот я его к вам приведу, погодите.

— И не застенчив он? — спросила опять Елена.

— Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы.

— А разве вы самолюбивы?

Берснев смешался и развел руками.

— Вы возбуждаете мое любопытство. — продолжала Елена. — Ну, а скажите, не стомстил он этому турецкому аге?

Берснев улыбнулся.

— Мстят только в романах, Елена Николаевна; да и притом в двенадцать лет этот ага мог умереть.

— Однако господин Инсаров вам ничего об этом не говорил?

— Ничего.

— Зачем он ездил в Софию?

— Там отец его жил.

Елена задумалась.

— Освободить свою родину! — промолвила она. — Эти слова даже выговорить страшно — так они велики...

В это мгновенье вошла в комнату Анна Васильевна — и разговор прекратился.

Странные ощущения волновали Берсенева, когда он возвращался домой в тот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Елену с Инсаровым, он находил весьма естественным то глубокое впечатление, которое произвели на нее его рассказы о молодом болгарине... не сам ли он старался усилить это впечатление! Но тайное и темное чувство скрыто гнездилось в его сердце; он грустил нехорошей грустью. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за *Историю Гогенштауфенов* и начать читать ее с самой той страницы, на которой он остановился накануне.

XI

Два дня спустя Инсаров, по обещанию, явился к Берсневу с своей поклажей. Слуги у него не было, но он без всякой помощи привел свою комнату в порядок, устал мебель, подтер пыль и вымел пол. Особенно долго возился он с письменным столом, который никак не хотел поместиться в назначенный для него простенок, но Инсаров, с свойственной ему молчаливой на-

стойчивостью, добился своего. Устроившись, он попросил Берсенева взять с него десять рублей вперед и, вооружившись толстой палкой, отправился осматривать окрестности своего нового жилища. Он вернулся часа через три и на приглашение Берсенева разделить с ним его трапезу отвечал, что он не отказывается обедать с ним сегодня, но что он уже переговорил с хозяйкой дома и будет вперед получать свою еду от нее.

— Помилуйте! — возразил Берсенев, — вас будут скверно кормить: эта баба совсем стряпать не умеет. Отчего вы не хотите обедать со мною? Мы бы расход пополам делили.

— Мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете, — отвечал с спокойной улыбкой Инсаров.

В этой улыбке было что-то такое, что не позволяло настаивать: Берсенев слова не прибавил. После обеда он предложил Инсарову свести его к Стаховым; но тот отвечал, что располагает посвятить весь вечер на переписку с своими болгарами и потому просит его отсрочить посещение Стаховых до другого дня. Непреклонность воли Инсарова была уже прежде известна Берсеневу; но только теперь, находясь с ним под одной кровлею, он мог окончательно убедиться в том, что Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же, как никогда не откладывал исполнения данного обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикой, немножко даже смешной; но он скоро привык к ней и кончил тем, что находил ее если не почтенной, то по крайней мере весьма удобной.

На второй день после своего переселения Инсаров встал в четыре часа утра, обегал почти все Кунцово, искупался в реке, выпил стакан холодного молока и принялся за работу; а работы у него было немало: он учился и русской истории, и праву, и политической экономии, переводил болгарские песни и летописи, собирал материалы о восточном вопросе, составлял русскую грамматику для болгар, болгарскую для русских. Берсенев зашел к нему и потолковал с ним о Фейербахе. Инсаров слушал его внимательно, возражал редко, но дельно; из возражений его видно было, что он старался дать самому себе отчет в том, нужно ли ему заняться

Фейербахом или же можно обойтись без него¹. Берсенеv навел потом речь на его занятия и спросил, не покажет ли он ему что-нибудь. Инсаров прочел ему свой перевод двух или трех болгарских песен и пожелал узнать его мнение. Берсенеv нашел перевод правильным, но не довольно оживленным. Инсаров принял его замечание к сведению. От песен Берсенеv перешел к современному положению Болгарии, и тут он впервые заметил, какая совершалась перемена в Инсарове при одном упоминании его родины: не то чтобы лицо его разгоралось или голос возвышался — нет! но все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обривалось резче и неумолимей, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой неугасимый огонь. Инсаров не любил распространяться о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вообще говорил охотно со всяким. Он говорил не спеша о турках, об их притеснениях, о горе и бедствиях своих сограждан, об их надеждах; сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась в каждом его слове.

«А ведь, чего доброго, — подумал между тем Берсенеv, — турецкий ага, пожалуй, заплатится ему за смерть матери и отца».

Инсаров не успел еще умолкнуть, как дверь растворилась и на пороге появился Шубин.

Он вошел в комнату как-то слишком развязно и добродушно; Берсенеv, который знал его хорошо, тотчас понял, что его что-то коробило.

— Рекомендуюсь без церемоний, — начал он с светлым и открытым выражением лица: — моя фамилия Шубин; я приятель вот этого молодого человека. (Он указал на Берсенева.) Ведь вы господни Инсаров, не так ли?

— Я Инсаров.

— Так дайте же руку, и познакомимтесь. Не знаю, говорил ли вам Берсенеv обо мне, а мне он много говорил об вас. Вы здесь поселились? Отлично! Не сердитесь на меня, что я так пристально на вас гляжу. Я по

¹ Речь идет о выдающемся немецком философе Людвиге Фейербахе (1804—1872), который выступил со своими трудами в 30-е годы.

ремеслу моему ваятель и предвижу, что в скором времени попрошу у вас позволение слепить вашу голову.

— Моя голова к вашим услугам, — проговорил Инсаров.

— Что же мы делаем сегодня, а? — заговорил Шубин, внезапно сядя на низенький стул и опираясь обеими руками на широко расставленные колени. — Андрей Петрович, есть какой-нибудь план на нынешний день у вашего благородия? Погода славная; сеном и сухой земляникой пахнет так... словно грудной чай пьешь. Надо бы сочинить какой-нибудь фокус. Покажем новому обитателю Кунцова все его многочисленные красоты. («А его коробит», продолжал думать про себя Берсенеv.) Ну, что ж ты молчишь, мой друг Горацио? ¹ Раскрой свои вещие уста. Сочиним мы фокус или нет?

— Я не знаю, — заметил Берсенеv: — как Инсаров. Он, кажется, собирается работать.

Шубин повернулся на стуле.

— Вы хотите работать? — спросил он как-то в нос.

— Нет, — отвечал тот: — нынешний день я могу посвятить прогулке.

— А! — промолвил Шубин. — Ну и прекрасно. Ступайте, друг мой Андрей Петрович, прикройте шляпой вашу мудрую голову, и пойдемте куда глаза глядят. Наши глаза молодые — глядят далеко. Я знаю трактирчик пресквернейший, где нам дадут обедешко препакуственный; а нам будет очень весело. Пойдемте.

Полчаса спустя они все трое шли по берегу Москвы-реки. У Инсарова оказался довольно странный ушастый картуз, от которого Шубин пришел в не совсем естественный восторг. Инсаров выступал не спеша, глядел, дышал, говорил и улыбался спокойно: он отдал этот день удовольствию и наслаждался вполне. «Благоразумные мальчишки так гуляют по воскресеньям», шепнул Шубин Берсенеvu на ухо. Сам Шубин очень дурачился, выбегал вперед, становился в позы известных статуй, кувыркался на траве: спокойствие Инсарова не то чтобы раздражало его, а заставляло его кривляться. «Что ты так егозишь, француз!» раза два заметил ему Берсенеv.

¹ Горацио — персонаж трагедии В. Шекспира «Гамлет, принц датский» (друг Гамлета).

«Да, я француз, полуфранцуз, — возражал ему Шубин, — а ты держи середину между шуткою и сурьезом, как говаривал мне один полководец» Молодые люди повернули прочь от реки и пошли по узкой и глубокой рывтине между двумя стенами золотой высокой ржи; голубоватая тень падала на них от одной из этих стен — лучистое солнце, казалось, скользило по верхушкам колосьев; жаворонки пели, перепела кричали; повсюду зеленели травы; теплый ветерок шевелил и поднимал их листья, качал головки цветов. После долгих странствований, отдыхов, болтовни (Шубин пробовал даже играть в чехарду с каким-то прохожим беззубым мужичком, который все смеялся, что с ним ни делали господа) молодые люди добрались до «скверненького» трактирчика. Слуга чуть не сшиб каждого из них с ног — и действительно накормил их очень дурным обедом с каким-то забalkanским вином, что, впрочем, не мешало им веселиться от души, как предсказывал Шубин; сам он веселился громче всех и меньше всех. Он был здоровье «непонятного», но великого Венелина¹, здоровье болгарского короля Крума, Хрума или Хрома, жившего «чуть не в Адамовы времена»².

— В девятом столетии, — поправил его Инсаров.

— В девятом столетии? — воскликнул Шубин. — О, какое счастье!

Берсенев заметил, что посреди всех своих проказ, выходок и шуток Шубин все как будто бы экзаменовал Инсарова, как будто щупал его — и волновался внутренно, — а Инсаров оставался попрежнему спокойным и ясным.

Наконец они вернулись домой, переоделись и, чтобы уж не выходить из колеи, в которую попали с утра, решили отправиться в тот же вечер к Стаховым. Шубин побежал вперед известить об их приходе.

¹ Венелин Ю. И. (1802—1839) — закарпатский украинец, учился в Львовском, а затем Московском университете, своими трудами по истории, языку и литературе болгарского народа сыграл исключительно благотворную роль в деле пробуждения национального политического сознания передовой части болгарской интеллигенции (Болгария находилась в то время под игом Турции)

² Крум — выдающийся государственный деятель и полководец древней Болгарии (IX век); нанес тяжелое поражение византийским войскам в 811 году.

— *Ирой* Инсаров сейчас сюда пожалует! — торжественно воскликнул он, входя в гостиную Стаховых, где в ту минуту находились только Елена да Зоя.

— *Weg?*¹ — спросила по-немецки Зоя. Взятая врасплох, она всегда выражалась на родном языке.

Елена выпрямилась. Шубин поглядел на нее с игривой улыбочкой на губах. Ей стало досадно, но она ничего не сказала.

— Вы слышали, — повторил он: — господин Инсаров сюда идет.

— Слышала, — отвечала она: — и слышала, как вы его назвали. Удивляюсь вам, право. Нога господина Инсарова еще здесь не была — а вы уже считаете за нужное ломаться.

Шубин вдруг опустился.

— Вы правы, вы всегда правы, Елена Николаевна, — пробормотал он, — но это я только так, ей-богу. Мы целый день с ним вместе гуляли — и он, я уверяю вас, отличный человек.

— Я об этом вас не спрашивала, — промолвила Елена и встала.

— Господин Инсаров молод? — спросила Зоя.

— Ему сто сорок четыре года, — отвечал с досадой Шубин.

Казачок доложил о приходе двух приятелей. Они вошли. Берсенева представил Инсарова. Елена попросила их сесть и сама села, а Зоя отправилась наверх: надо было предупредить Анну Васильевну. Начался разговор довольно незначительный, как все первые разговоры. Шубин наблюдал молчком из уголка, но наблюдать было не за чем. В Елене он замечал следы сдержанной досады против него, Шубина, — и только. Он глядел на Берсенева и на Инсарова и, как ваятель, сравнивал их лица. Оба, думал он, некрасивы собой: у болгарина характерное, скульптурное лицо — вот теперь оно хорошо осветилось; у великоросса просится больше в живопись: линий нету — физиономия есть. А пожалуй, и в того и в другого влюбиться можно. Она еще не любит, но по-

¹ *Weg?* (нем.) — Кто?

любит Берсенева, решил он про себя. — Анна Васильевна появилась в гостиную, и разговор принял оборот совершенно *дачный*, именно дачный, не деревенский. То был разговор весьма разнообразный по обилию обсуждаемых предметов; но коротенькие, довольно томительные паузы прерывали его каждые три минуты. В одну из этих пауз Анна Васильевна обратилась к Зое. Шубин понял ее немой намек и скорчил кислую рожу, а Зоя села за фортепьяно, сыграла и съела все свои штучки. Увар Иванович показался было из-за двери, но пошевелил перстами — и отретировался. Потом подали чай, потом прошлись всем обществом по саду... На дворе стемнело, и гости удалились.

Инсаров, действительно, произвел на Елену меньше впечатления, чем она сама ожидала, или, говоря точнее, он произвел на нее не то впечатление, которого ожидала она. Ей понравилась его прямота и непринужденность, — и лицо его ей понравилось; но все существо Инсарова, спокойно-твердое и обыденно-простое, как-то не ладилось с тем образом, который составилась у нее в голове от рассказов Берсенева. Елена, сама того не подозревая, ожидала чего-то более «фатального». Но, думая она, он сегодня говорил очень мало — я сама виновата, я не расспрашивала его; подождем до другого раза; а глаза у него выразительные, честные глаза! Она чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а подать ему дружески руку — и она недоумевала: не такими воображала она себе людей, подобных Инсарову, «героев». Это последнее слово напомнило ей Шубина, и она, уже лежа в постели, вспыхнула и рассердилась.

— Как вам понравились ваши новые знакомые? — спросил на возвратном пути Берсенев у Инсарова.

— Они мне очень понравились, — отвечал Инсаров: — особенно дочь. Славная, должно быть, девушка. Она волнуется, но в ней это хорошее волнение.

— Надо будет к ним ходить почаще, — заметил Берсенев.

— Да, надо, — проговорил Инсаров и ничего больше не сказал до самого дома. Он тотчас заперся в своей спальне, но свеча горела у него далеко за полночь.

Берсенев не успел еще прочесть страницу из Раумера, как горсть брошенного мелкого песку стукнула о

стекла его окна. Он невольно вздрогнул, раскрыл окно и увидал Шубина, бледного, как полотно.

— Экой ты неугомонный! ночная ты бабочка! — начал было Берсенеv.

— Тс! — перебил его Шубин, — я пришел к тебе укрaдкой, как Макс к Агате¹. Мне непременно нужно сказать тебе два слова наедине.

— Да войди же в комнату.

— Нет, не нужно, — возразил Шубин и облокотился на оконницу: — эдак веселее, более на Испанию похоже. Во-первых, поздравляю тебя: твои акции поднялись. Твой хваленый необыкновенный человек провалился. За это я тебе поручиться могу. А чтоб тебе доказать мою беспристрастность, слушай: вот формулярный список господина Инсарова. Талантов никаких, поэзии *нема́*, способностей к работе пропасть, память большая, ум не разнообразный и не глубокий, но здравый и живой; сушь и сила, и даже дар слова, когда речь идет об его (между нами сказать) скучнейшей Болгарии. Чтó ты скажешь, я несправедлив? Еще замечание: ты с ним никогда на *ты* не будешь, и никто с ним на *ты* не бывал; я, как артист, ему противен, чем я горжусь. Сушь, сушь, а всех нас в порошок стереть может. Он с своею землею связан — не то что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стóит только турок вытурить, велика штука! Но все эти качества, слава богу, не нравятся женщинам. Обаяния нет, *шарму*; не то что в нас с тобой.

— К чему ты меня приплел? — пробормотал Берсенеv. — И в остальном ты неправ: ты ему несколько не противен, и с своими соотечественниками он на *ты*... я это знаю.

— Это другое дело! Для них он герой; а признаться сказать, я себе героев иначе представляю: герой не должен уметь говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом — стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра.

¹ Макс и Агата — персонажи популярной в то время оперы Вебера «Волшебный стрелок». Шубин имеет в виду одну из сцен второго акта.

— Что тебя Инсаров так занимает? — спросил Берсенеv. — Неужели ты только для того прибежал сюда, чтоб описать мне его характер?

— Я пришел сюда, — начал Шубин, — потому что мне дома очень было грустно.

— Вот как! Уж не хочешь ли ты опять заплакать?

— Смейся! Я пришел сюда, потому что я готов локти себе кусать, потому что отчаяние меня грызет, досада, ревность...

— Ревность! к кому?

— К тебе — к нему, ко всем. Меня терзает мысль, что если б я раньше понял ее, если б я умеючи взялся за дело... Да что толковать! Кончится тем, что я буду все смеяться, дурачиться, ломаться, как она говорит — а там возьму да удавлюсь.

— Ну, удавиться ты не удавишься, — заметил Берсенеv.

— В такую ночь, конечно, нет; но дай нам только дожить до осени. В такую ночь люди умирают тоже, только от счастья. Ах, счастье! Каждая вытянутая через дорогу тень от дерева так, кажется, и шепчет теперь: «Знаю я, где счастье... Хочешь, скажу?» Я бы позвал тебя гулять, да ты теперь под влиянием прозы. Спи, и да снятся тебе математические фигуры! А у меня душа разрывается. Вы, господа, видите, что человек смеется, значит, по-вашему, ему легко... вы можете доказать ему, что он самому себе противоречит, значит он не страдает... Бог с вами!

Шубин быстро отошел от окошка. «Аннушка!» хотел было крикнуть ему вслед Берсенеv, но удержался: на Шубине действительно лица не было. Минуты две спустя Берсенеvu даже почудились рыдания: он встал, отворил окно; все было тихо; только где-то вдали какой-то, должно быть, проезжий мужичок тянул: *Степь Моздокскую.*

ХIII

В течение первых двух недель после переселенья Инсарова в соседство Кунцова он не более четырех или пяти раз посетил Стаховых; Берсенеv ходил к ним через день — Елена всегда ему была рада, всегда завязы-

вдась между им и ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвращался домой часто с печальным лицом. Шубин почти не показывался; он с лихорадочною деятельностью занялся своим искусством: либо сидел взаперти у себя в комнате — и выскакивал оттуда в блузе, весь выпачканный глиной; либо проводил дни в Москве, где у него была студия, куда приходили к нему модели и италиянские формовщики, его приятели и учителя. Елена ни разу не поговорила с Инсаровым так, как бы она хотела; в его отсутствие она готовилась расспросить его обо многом, но когда он приходил, ей становилось совестно своих приготовлений. Самое спокойствие Инсарова ее смущало: ей казалось, что она не имеет права заставить его высказываться, и она решалась ждать. — Со всем тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы незначительны ни были обмененные между ними слова, он привлекал ее более и более; но ей не пришлось остаться с ним наедине, — а чтобы сблизиться с человеком, нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз. Она много говорила о нем с Берсеневым. Берсенев понимал, что изображение Елены поражено Инсаровым, и радовался, что его приятель не провалился, как утверждал Шубин. Он с жаром, до малейших подробностей, рассказывал ей все, что знал о нем (мы часто, когда сами хотим понравиться другому человеку, превозносим в разговоре с ним наших приятелей, почти никогда притом не подозревая, что мы тем самих себя хвалим), и лишь изредка, когда бледные щеки Елены слегка краснели, а глаза светлели и расширялись, та нехорошая, уже им испытанная грусть шемила его сердце...

Однажды Берсенев пришел к Стаховым не в обычную пору, часу в одиннадцатом утра. Елена вышла к нему в залу.

— Вообразите себе, — начал он с принужденной улыбкой: — наш Инсаров пропал.

— Как? пропал... — проговорила Елена.

— Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и с тех пор его нет.

— Он не сказал вам, куда он пошел?

— Нет.

Елена опустила на стул.

— Он, вероятно, в Москву отправился, — промолвила она, стараясь казаться равнодушной и в то же время сама дивясь тому, что она старается казаться равнодушной.

— Не думаю, — возразил Берсенеv. — Он ушел не один.

— С кем же?

— К нему третьего дня, перед обедом, явились два каких-то человека, должно быть его соотечественники.

— Болгары? почему вы это думаете?

— А потому, что, сколько я мог расслышать, они говорили с ним на языке, мне неизвестном, но славянском. Вот вы все находите, Елена Николаевна, что в Инсарове таинственного мало: уж на что таинственнее этого посещения! Представьте: вошли к нему — и ну кричать и спорить, да так дико, злобно... И он кричал.

— И он?

— И он. Кричал на них. Они как будто жаловались друг на друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей! Лица смуглые, широкоскулые, тупые, с ястребиными носами, лет каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду ремесленники — не ремесленники и не господа — бог знает, что за люди.

— И он с ними отправился?

— С ними. Накормил их да ушел с ними. Хозяйка мне сказывала, — они вдвоем целый огромный горшок каши съели. Так, говорит, вперегонку и глотали, словно болки.

Елена слабо усмехнулась.

— Вы увидите, — промолвила она: — все это разрешится чем-нибудь очень прозаическим.

— Дай бог! Только напрасно вы употребили это слово. В Инсарове нет ничего прозаического, хотя Шубин и уверяет.

— Шубин! — перебила Елена и пожала плечом. — Но сознайтесь, что эти два господина, глотающие кашу...

— И Фемистокл ел накануне Саламинского сражения¹, — с улыбкой заметил Берсенеv.

¹ Фемистокл (VI—V века до н. э.) — один из крупных политических деятелей Афин, участник греко-персидских войн и в частности Саламинского сражения (480 год до н. э.), когда греки одержали победу над персами.

— Так, но зато на другой день и было сражение. А вы все-таки дайте мне знать, когда он вернется, — прибавила Елена и попыталась переменить разговор, но разговор не клеился.

Появилась Зоя и стала ходить по комнате на цыпочках, давая тем знать, что Анна Васильевна еще не проснулась.

Берснев ушел.

В тот же день, вечером, принесли от него записку Елене. «Вернулся, — писал он ей: — загорелый и в пыли по самые брови; но зачем и куда ездил, не знаю; не узнаете ли вы?»

— Не узнаете ли вы! — прошептала Елена. — Разве он говорит со мной?

XIV

На следующий день, часу во втором, Елена стояла в саду перед небольшою закуткой, где у ней воспитывались два дворовые щенка. (Садовник нашел их заброшенными под забором и принес их барышне, про которую ему сказали прачки, что она, мол, всяких зверей и скотов жалует. Он не ошибся в расчете: Елена дала ему четвертак.) Она заглянула в закутку, убедилась, что щенки живы и здоровы и что солому им постлали свежую, обернулась и чуть не вскрикнула: прямо к ней, по аллее, шел Инсаров, один.

— Здравствуйте, — промолвил он, приближаясь к ней и снимая картуз. Она заметила, что он точно сильно загорел в последние три дня. — Я хотел притти сюда с Андреем Петровичем, да он что-то замешкался; вот я и отправился без него. В доме у вас никого нет: все спят или гуляют, я и пришел сюда.

— Вы как будто извиняетесь, — отвечала Елена. — Это совсем не нужно — мы все очень рады вас видеть... Сядемте тут на скамейку, в тени.

Она села. Инсаров поместился возле нее.

— Вас, кажется, дома не было в это время? — начала она.

— Да, — отвечал он: — я уходил... Вам Андрей Петрович сказывал?

Инсаров глянул на нее, улыбнулся и начал играть

картузом Улыбаясь, он быстро моргал глазами и выдвигал вперед губы, что придавало ему очень добродушный вид.

— Андрей Петрович, вероятно, вам также сказал, что я ушел с какими-то... безобразными людьми, — проговорил он, продолжая улыбаться.

Елена немного смутилась, но тотчас почувствовала, что Инсарову надо всегда говорить правду.

— Да, — сказала она решительно.

— Что же вы подумали обо мне? — спросил он ее вдруг.

Елена подняла на него глаза.

— Я подумала... — промолвила она, — я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.

— Ну, и спасибо вам за это. Вот видите ли, Елена Николаевна, — начал он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней: — наших здесь небольшая семейка; есть между нами люди мало образованные; но все крепко преданы общему делу. К несчастью, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и позвали меня разорвать одну ссору. Я и отправился.

— Далеко отсюда?

— Я за шестьдесят верст ездил — в Троицкий посад. Там, при монастыре, тоже есть наци. По крайней мере, недаром хлопотал. Уладил дело.

— И трудно вам было?

— Трудно. Один все упрявился. Деньги не хотел отдать.

— Как — из-за денег была ссора?

— Да и деньги-то небольшие. А вы что полагали?

— И вы для таких пустяков за шестьдесят верст ездили? Три дня потеряли?

— То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки замешаны. Тут отказаться — грех. Вы вот, я вижу, даже щенкам не отказываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я время-то потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.

— Кому же?

— А всем, кому в нас нужда. Я вам все это так с бухта-барухта рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я воображаю, как Андрей Петрович вас удивил!

— Вы дорожите моим мнением, — проговорила Елена вполголоса: — почему?

Инсаров опять улыбнулся.

— Потому что вы хорошая барышня, не аристократка... вот и все.

Настало небольшое молчанье.

— Дмитрий Никанорич, — сказала Елена: — знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны?

— Как так? Мне кажется, я всегда говорил вам все, что думал.

— Нет, это в первый раз, и я очень этому рада, — и я тоже хочу быть откровенною с вами. Можно?

Инсаров засмеялся и сказал:

— Можно.

— Предваряю вас, что я очень любопытна.

— Ничего, говорите.

— Мне Андрей Петрович много рассказывал о вашей жизни — о вашей молодости, — мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство... Я знаю, что вы ездили потом к себе на родину — не отвечайте мне, ради бога, если мой вопрос вам покажется нескромным, но меня мучит одна мысль... Скажите, встретились ли вы с тем человеком...

Дыхание захватило у Елены. Ей стало и стыдно и страшно своей смелости. Инсаров глядел на нее пристально, слегка прищурив глаза и трогая пальцами подбородок.

— Елена Николаевна, — начал он наконец, и голос его был тише обыкновенного, что почти испугало Елену, — я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним — и слава богу! Я не искал его. Я не искал его не потому, чтобы я не почитал себя вправе убить его — я бы очень спокойно убил его, — но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет о народном, общем отмищении... или нет, это слово не годится... когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет... И то не уйдет, — повторил он и покачал головою.

Елена посмотрела на него сбоку.

— Вы очень любите свою родину? — произнесла она робко.

— Это еще неизвестно, — отвечал он. — Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил.

— Так что, если бы вас лишили возможности возвратиться в Болгарию, — продолжала Елена, — вам было бы очень тяжело в России?

Инсаров потупился.

— Мне кажется, я бы этого не вынес, — проговорил он.

— Скажите, — начала опять Елена: — трудно научиться болгарскому языку?

— Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русский должен знать все славянские наречия. Хотите, я вам принесу болгарские книги? Вы увидите, как это легко. Какие у нас песни! не хуже сербских¹. Да вот постойте, я вам переведу одну из них. В ней говорится про... Да вы знаете ли хоть немножко нашу историю?

— Нет, я ничего не знаю, — ответила Елена.

— Постойте, я вам принесу книжку. Вы из нее хоть главные факты узнаете. Так слушайте же песню. Впрочем, я вам лучше принесу написанный перевод. Я уверен, вы полюбите нас: вы всех притесненных любите... Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А между тем его топчут, его терзают, — подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело: — у нас все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут...

— Дмитрий Никанорович! — воскликнула Елена.

Он остановился.

— Извините меня. Я не могу говорить об этом хладнокровно. Но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить, после бога? И когда эта родина нуждается в тебе... Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я — мы желаем одного и того же.

¹ В сербских народных песнях отразилась многовековая борьба сербского народа за свою независимость против турецких завоевателей. В 1814 году Вук Караджич (1787—1864) издал первое собрание сербских песен; они произвели глубокое впечатление на прогрессивную интеллигенцию всего мира и вызвали ряд переводов, обработок и подражаний.

У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!

Инсаров замолк на мгновение и снова заговорил о Болгарии. Елена слушала его с пожирающим, глубоким — и печальным вниманием. Когда он кончил, она еще раз спросила его:

— Так вы ни за что не остались бы в России?

А когда он ушел, она долго смотрела ему вслед. Он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила его за два часа тому назад.

С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Берснев все реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись. Так прошел месяц.

XV

Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно читателю; но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной *partie de plaisir*¹; и чем затруднительнее была эта *partie de plaisir*, чем больше требовала она приготовлений и сборов, чем больше волновалась сама Анна Васильевна, тем ей было приятнее. Находил ли на нее этот *стих* зимой — она приказывала нанять две-три ложи рядом, забирала всех своих знакомых и отправлялась в театр или даже в маскарад; летом она ехала за город, куда-нибудь подальше. На другой день она жаловалась на головную боль, кряхтела и не вставала с постели, а месяца через два в ней опять загоралась жажда «необыкновенного». То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно². Поднялась тревога в доме: нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем.

¹ *Partie de plaisir* (франц.) — увеселительная прогулка.

² Царицыно — одно из популярных подмосковных мест, в 18 километрах от Москвы.

чем; с ним же поскакал и дворецкий закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов; Шубину вышел приказ нанять ямскую коляску (одной кареты было мало) и приготовить подставных лошадей; казачок два раза сбегал к Берсеневу и Инсарову и снес им две пригласительные записки, написанные, сперва по-русски, потом по-французски, Зоей. Сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем *partie de plaisir* чуть не расстроилась: Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном — фрондерском — расположении духа (он все еще дулся на Августину Христиановну) и, узнав, в чем дело, решительно объявил, что он не поедет; что скакать из Кунцова в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцово — нелепость, — и наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог — и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от *partie de plaisir*, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнату, говоря: «Утопающий и за соломинку хватается». Его разбудили; он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл пальцами и, к общему изумлению, согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала миленьким; Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал: *quelle bourde!*¹ (он любил при случае употреблять «шикарные» французские слова) — а на следующее утро, в семь часов, карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора Стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничная и Берсенев; Инсаров поместился на козлах; в коляске находились Увар Иваныч и Шубин. Увар Иваныч сам движением пальца подозвал к себе Шубина; он знал, что тот будет дразнить его всю дорогу, но между «черноземной силой» и молодым художником существовала какая-то странная связь и бранчивая откровенность. Впрочем, на этот раз Шубин оставил своего толстого друга в покое: он был молчалив, рассеян и мягок.

¹ *Quelle bourde!* (Франц.) — Какая нелепость!

Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури, когда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка¹, мрачным и грозным даже в полдень. Все общество спустилось на траву и тотчас же двинулось в сад. Впереди шли Елена и Зоя с Инсаровым; за ними с выраженным полным счастьем на лице выступала Анна Васильевна под руку с Уваром Ивановичем: он пыхтел и переваливался, новая соломенная шляпа резала ему лоб, и ноги горели в сапогах, но и ему было хорошо; Шубин и Берсенева замыкали шествие. «Мы будем, братец, в резерве, как некие ветераны, — шепнул Берсеневу Шубин. — Там теперь Болгария», прибавил он, показав бровями на Елену.

Погода была чудесная. Все кругом цвело, жужжало и пело; вдали сияли воды прудов; праздничное, светлое чувство охватывало душу. «Ах, хорошо! ах, хорошо!» беспрестанно твердила Анна Васильевна; Увар Иванович потряхивал одобрительно головой в ответ на ее восторженные восклицанья и раз даже промолвил: «Что толковать!» Елена изредка менялась словами с Инсаровым; Зоя придерживала двумя пальчиками край широкой шляпы, кокетливо выносила из-под розового баржевого² платья свои маленькие ножки, обутые в светлосерые ботинки с тупыми носками, и поглядывала то вбок, то назад. «Эге! — воскликнул вдруг вполголоса Шубин. — Зоя Никитишна, никак, оглядывается. Пойдука я к ней. Елена Николаевна теперь меня презирает, а тебя, Андрей Петрович, уважает, что на одно выходит. Пойду, довольно я кис. Тебе же, мой друг, советую ботанизировать: в твоём положении это самое лучшее, что ты придумать можешь; оно же и в учёном отношении полезно. Прощай!» Шубин подбежал к Зое, подставил ей руку кренделем и, сказав: «Ihre Hand, Madame»³,

¹ В 1775 году Екатерина II поручила великому русскому архитектору В. И. Баженову (1737—1799) построить в Царицыне «второе Царское Село». Сооружения в Царицыне, которым Баженов посвятил почти десять лет жизни, не понравились Екатерине, и она приказала их снести, поручив другому великому русскому архитектору, М. Ф. Казакову (1733—1812), вести работы заново. Со смертью Екатерины строительство прекратилось, а уже построенные здания постепенно стали превращаться в развалины.

² Баржевое платье — платье из легкой шерстяной ткани.

³ Ihre Hand, Madame (нем.) — Вашу руку, сударыня.

подхватил ее и пустился с пей вперед. Елена остановилась, подозвала Берсенева и тоже взяла его руку, но продолжала говорить с Инсаровым. Она спрашивала у него, как на его языке называется ландыш, клен, дуб, липа... («Болгария!» подумал бедный Андрей Петрович.)

Вдруг впереди раздался крик — все подняли голову: сигарочница Шубина летела в куст, брошенная рукой Зои. «Погодите, я с вами за это рассчитаюсь!» воскликнул он, полез в куст, нашел там сигарочницу и вернулся было к Зое — но не успел он к ней приблизиться, как уже опять его сигарочница летела через дорожку. Раз пять повторилась эта проделка, он все хохотал и грозился, а Зоя только втихомолку улыбалась и пожималась, как кошечка. Наконец он поймал ее пальцы и так их тиснул, что она пискнула, и долго потом дула на руку, притворно сердилась, а он ей напевал что-то на ухо.

— Шалуны, молодой народ, — весело заметила Анна Васильевна Увару Иванычу.

Тот поиграл перстами.

— Какова Зоя Никитишна? — сказал Берсенев Елене.

— А Шубин? — отвечала она.

Между тем все общество подошло к беседке, известной под именем Миловидовой, и остановилось, чтобы полюбоваться зрелищем Царицынских прудов. Они тянулись один за другим на несколько верст — сплошные леса темнели за ними. Мурава, покрывавшая весь скат дельта до главного пруда, придавала самой воде необыкновенно яркий, изумрудный цвет. Нигде, даже у берега, не вспухала волна, не белела пена; даже ряби не пробегало по ровной глади: казалось, застывшая масса стекла тяжело и светло улеглась в огромной купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья неподвижно гляделись в ее прозрачное лоно. Все долго и молча любовались видом — даже Шубин притих, даже Зоя задумалась. Наконец все единодушно захотели покататься по воде. Шубин, Инсаров и Берсенев побежали вниз по траве взапуски. Они отыскивали большую раскрашенную лодку, отыскивали двух гребцов и позвали дам. Дамы сошли к ним; Увар Иваныч осторожно спустился за дамами. Пока он входил в лодку, пока усаживался, много было смеху. «Смотрите, барин, не зато-

дите нас», заметил один из гребцов, молодой курносый парень в александрийской рубахе¹. «Ну, ну, фуфыря!» проговорил Увар Иваныч. Лодка отчалила. Молодые люди взялись было за весла, но грести умел из них один Инсаров. Шубин предложил спеть хором какую-нибудь русскую песню и сам затянул: «Вниз по матушке...» Берсенева, Зоя и даже Анна Васильевна подхватили (Инсаров не умел петь), но вышла разноголосица, на третьем стихе певцы запутались; один Берсенева пытался продолжать басом: «Ничего в волнах не видно», — но тоже скоро сконфузился. Гребцы перемигнулись и оскалили зубы молча. «Что? — обратился к ним Шубин. — Видно, господа петь-то не умеют?» Малый в александрийской рубахе только головой тряхнул. «Так погоди ж, курносый, — возразил Шубин, — мы тебе покажем. Зоя Никитишна, спойте нам: *Le lac* Нидермейера². Не гребите вы!» Мокрые весла поднялись на воздух, как крылья, и так и замерли, звонко роняя капли; лодка проплыла еще немного и остановилась, чуть-чуть закружившись на воде, как лебедь. Зоя поломалась... «*Allons!*»³ ласково промолвила Анна Васильевна... Зоя скинула шляпу и запела:

O lac! l'année à peine a fini sa carrière...⁴

Ее небольшой, но чистый голосок так и помчался по зеркалу пруда; далеко в лесах отзывалось каждое слово; казалось, и там кто-то пел четким и таинственным, но не человеческим, не здешним голосом. Когда Зоя кончила, громкое bravo раздалось из одной прибрежной беседки, и оттуда выскочило несколько краснорожих немцев, прнехавших «*покнейпировать*»⁵ в Царницыно. Некоторые из них были без сюртуков, без галстуков и даже

¹ Александрийская рубаха — крестьянская рубаха, считая из «александрейки», бумажной красной ткани с пропиткой другого цвета.

² Нидермейер Л. — швейцарский композитор первой половины XIX века, автор популярного переложения на музыку стихотворения французского поэта Ламартина (1790—1869) «*Le lac*» («Озеро»).

³ *Allons!* (франц.) — Ну же!

⁴ «O lac! l'année à peine a fini sa carrière...» — «Ах, озеро, взгляни! один лишь год печали промчался...» (пер. А. Фета).

⁵ *Покнейпировать* (нем. kņeipen) — веселиться, бражничать.

без жилетов, и до того неистово кричали bis — что Анна Васильевна велела поскорее отъехать на другой конец пруда. Но, прежде чем лодка пристала к берегу, Увару Иванычу еще раз удалось удивить своих знакомых: заметив, что в одном месте леса эхо особенно ясно повторяло каждый звук, он вдруг начал кричать перепелом. Сперва все вздрогнули, но тотчас же почувствовали истинное удовольствие, тем более что Увар Иваныч кричал очень верно и похоже. Это его поощрило, и он попробовал мяукать; но мяуканье выходило у него не так хорошо; он крикнул еще раз перепелом — посмотрел на всех и умолк. Шубин бросился его целовать: он оттолкнул его. В это мгновение лодка причалила — и все общество вышло на берег.

Между тем кучер с лакеем и горничной принесли корзинки из кареты и приготовили обед на траве под старыми липами. Все уселись вокруг разостланной скатерти и принялись за паштет и прочие яства. У всех аппетит был отличный, а Анна Васильевна то и дело угащивала и уговаривала своих гостей, чтобы побольше ели, уверяя, что на воздухе это очень здорово; она обращалась с такими речами к самому Увару Иванычу. «Будьте спокойны», промышчал он ей с набитым ртом. «Дал же господь такой славный день!» твердила она беспрестанно. Ее нельзя было узнать: она точно двадцатью годами помолодела. Берсенева заметил ей это. «Да, да, — сказала она, — была и я, в мое время, хоть куда; из десятка бы меня не выкинули». Шубин присоединился к Зое и беспрестанно наливал ей вина; она отказывалась, он ее потчевал и копчал тем, что сам выпивал стакан, и потом опять ее потчевал; он также уверял ее, что желает преклонить свою голову к ней на колени — она никак не хотела позволить ему «эдакую большую вольность». Елена казалась серьезнее всех, но на сердце у ней было чудное спокойствие, какого она давно не испытывала. Она чувствовала себя бесконечно доброй, и ей все хотелось иметь возле себя не одного только Инсарова, но и Берсенева... Андрей Петрович смутно понимал, что это значило, и вздыхал украдкой.

Часы летели; вечер приближался. Анна Васильевна вдруг всполошилась. «Ах, батюшки мои, как поздно! — заговорила она. — Пожито, попито, господя; пора и бо-

роду утирать». Она засуетилась, и все засуетились, встали и пошли в направлении к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов, все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться Царицыном. Везде горели яркие, передвечерние краски; небо рдело, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветром; растопленным золотом струились отдаленные воды; резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, кое-где разбросанные по саду. «Прощай, Царицыно, не забудем мы сегодняшнюю поездку!» промолвила Анна Васильевна... Но в это мгновение, и как бы в подтверждение ее последних слов, случилось странное происшествие, которое действительно не так-то легко было позабыть.

А именно: не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет Царицыну — как вдруг в нескольких шагах от нее, за высоким кустом сирени, раздались нестройные восклицания, хохотня и крики — и целая гурьба растрепанных мужчин, тех самых любителей пенья, которые так усердно хлопали Зое, высыпали на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам; но один из них, огромного роста, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне.

— Бонжур, мадам, — проговорил он сиплым голосом: — как ваше здоровье?

Анна Васильевна пошатнулась назад.

— А отчего вы, — продолжал великан дурным русским языком, — не хотел петь *bis*, когда наш компани кричал *bis*, и браво, и форо?¹

— Да, да, отчего? — раздалось в рядах «компани».

Инсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и сам заслонил Анну Васильевну.

— Позвольте, — начал он, — почтенный незнакомец, выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени; следовательно, мы должны предпола-

¹ Форо (итал.) — то же, что «bis», возглас.

гать в вас знание светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время я, в особенности, был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечая в вас такое феноменальное развитие мускулов: *biceps*, *triceps* и *deltoidaeus*¹, что, как ваятель, почел бы за истинное счастье иметь вас своим натурщиком; но на сей раз оставьте нас в покое.

«Почтенный незнакомец» выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока.

— Я ничего не понимаю, что вы говорит такое, — промолвил он наконец. — Вы думает, может быть, я сапожник или часовых дел мастер? Э? Я офицер; я чиновник, да.

— Я не сомневаюсь в этом... — начал было Шубин.

— А я вот что говорю, — продолжал незнакомец, отстраняя его своей мощной рукою, как ветку с дороги: — я говорю — отчего вы не пел *bis*, когда мы кричал *bis*? А теперь я сейчас, сею минутой уйду, только вот нушна, штоп эта фрейлейн, не эта мадам, нет, эта не нушна, а вот эта или эта (он указал на Елену и Зою) дала мне *einen Kuss*, как мы это говорим по-немецки, подалуйшик, да. Что ж — это ничего.

— Ничего, *einen Kuss*, это ничего, — раздалось опять в рядах компании.

— *Ih! der Sakramenter!*² — проговорил, давась от смеху, один уже совершенно чирый немец.

Зоя ухватила за руку Инсарова, но он вырвался у нее и стал прямо перед великорослым нахалом.

— Извольте итти прочь, — сказал он ему негромким, но резким голосом.

Немец тяжело захохотал.

— Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу гуляйт? Как это прочь! Отчего прочь?

— Оттого, что вы осмелились беспокоить даму, — проговорил Инсаров и вдруг побледнел: — оттого, что вы пьяны.

— Как? Я пьян? Слышать? *Hören Sie das, Herr*

¹ *Biceps*, *triceps*, *deltoidaeus* (лат.) — названия мышц.

² *Ih! der Sakramenter!* (нем.) — Ах, проклятый!

Provisor? ¹ Я офицер, а он смеет... Теперь я требую Satisfaction. Einen Kuss will ich! ²

— Если вы сделаете еще шаг... — начал Инсаров.

— Ну — и что тогда?

— Я вас брошу в воду.

— В воду? Herr Je! ³ И только? Ну, посмотрим, это очень любопытно, как это в воду...

Господин *офицер* поднял руки и подался вперед, но вдруг произошло нечто необыкновенное: он крикнул, все огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли, ноги брыкнули на воздухе, и прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, господин *офицер*, всей своей массой, с тяжким плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившейся водой.

— Ай! — дружно взвизгнули дамы.

— Mein Gott! ⁴ — слышалось с другой стороны.

Прошла минута... и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой; она пускала пузыри, эта голова; две руки судорожно барахтались у самых ее губ.

— Он утонет, спасите его, спасите! — закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, оставив ноги и глубоко дыша.

— Выплывет, — проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью. — Пойдемте, — прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку. — Пойдемте, Увар Иваныч, Елена Николаевна.

— А... а... о... о... — раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник.

Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой «компании». Но, лишившись своего главы, гуляки присмирели — и ни словечка не вымолвили; один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головою: «Ну, это, однако... это бог знает

¹ Hören Sie das, Herr Provisor? (нем.) — Вы слышите это, господин провизор?

² Satisfaction. Einen Kuss will ich! (нем.) — Удовлетворения (за оскорбление). Я хочу поцелуя!

³ Herr Je! (нем.) — Господи Иисусе!

⁴ Mein Gott! (нем.) — Боже мой!

что... после этого»; а другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень грозным, и недаром: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим «русским мошенникам», что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству графу фон-Кизериц пойдет...

Но «русские мошенники» не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку. Все молчали, пока шли по саду, только Анна Васильевна слегка охала. Но вот они приблизились к экипажам, остановились — и неудержимый, несмолкаемый смех поднялся у них, как у небожителей Гомера¹. Первый, визгливо, как безумный, залился Шубин, за ним горюхом забарабанил Берсенеv, там Зоя рассыпалась тонким бисером, Анна Васильевна тоже вдруг так и покати-лась, даже Елена не могла не улыбнуться, даже Инсаров не устоял наконец. Но громче всех, и дольше всех, и неистовее всех хохотал Увар Иваныч; он хохотал до колотья в боку, до чихоты, до удушья. Притихнет немного да проговорит сквозь слезы: «Я... думаю... что это хлопнуло?.. а это... он... плашмя...» — и вместе с последним, судорожно выдавленным словом новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Зоя его еще больше подвдоривала. «Я, говорит, вижу, ноги по воздуху...» — «Да, да, — подхватит Увар Иваныч, — ноги, ноги... а там хлопок! а это он п-п-плашмя...» — «Да и как «они» это ухитрились. Ведь немец-то втрое больше их был?» спросила Зоя. «А я вам доложу, — ответил, утирая глаза, Увар Иваныч: — я видел: одною рукой за поясицу, ногу подставил, да... как хлопок... Я слышу: что это?.. а это би, плашмя...»

Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок скрылся из виду, а Увар Иваныч все не мог успокоиться. Шубин, который опять с ним поехал в коляске, пристыдил его наконец.

А Инсарову было совестно. Он сидел в карете против Елены (на козлах помещился Берсенеv) и молчал; она тоже молчала. Он думал, что она его осуждает; а

¹ Имеется в виду знаменитое описание смеха богов в поэме Гомера «Илиада».

она не осуждала его. Она очень испугалась в первую минуту; потом ее поразило выражение его лица; потом она все размышляла... Ей не было совершенно ясно, о чем размышляла она. Чувство, испытанное ею в течение дня, исчезло — это она сознавала; но оно заменилось чем-то другим, чего она — пока — не понимала. *Partie de plaisir* продолжалась слишком долго — вечер незаметно перешел в ночь. Карета быстро неслась то вдоль созревающих нив, где воздух был душен и душист и отзывался хлебом, то вдоль широких лугов, и внезапная их свежесть била легкой волной по лицу. Небо словно дымилось по краям. Наконец выплыл месяц, тусклый и красный. Анна Васильевна дремала; Зоя высунулась из окна и глядела на дорогу. Елене пришло наконец в голову, что она более часу не говорила с Инсаровым. Она обратилась к нему с незначительным вопросом: он тотчас радостно ответил ей. В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки — казалось, будто вдали говорили тысячи голосов... Москва неслась им навстречу. Впереди замелькали огоньки — их становилось все более и более; наконец под колесами застучали камни. Анна Васильевна проснулась; все заговорили в карете, хотя никто уже не мог слышать, о чем шла речь — так сильно гремела мостовая под двумя экипажами и тридцатью двумя лошадиными ногами. Длинным и скучным показался переезд из Москвы в Кунцово — все спали или молчали, прижавшись головами к разным уголкам; одна Елена не закрывала глаз: она не сводила их с темной фигуры Инсарова. На Шубина напала грусть; ветерок дул ему в глаза и раздражал его; он завернулся в воротник шинели и чуть-чуть было не всплакнул. Увар Иваныч благополучно похрапывал, качаясь направо и налево. Экипажи остановились наконец. Два лакея вынесли Анну Васильевну из кареты; она совсем расклеилась и, прощаясь с своими спутниками, объявила им, что она чуть жива; они стали ее благодарить, а она только повторила: «Чуть жива». Елена пожала (в первый раз) руку Инсарову, и долго не раздевалась, сидя под окном; а Шубин улучил время шепнуть уходящему Берсеневу:

— Ну как же не герой — в воду пьяных немцев бросает.

— А ты п того не сделал, — возразил Берсенеv и отправился домой с Инсаровым.

Заря уже занималась в небе, когда оба приятели возвратились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звепели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная последняя звезда.

XVI

Елена вскоре после знакомства с Инсаровым начала (в пятый или шестой раз) дневник. Вот отрывки из этого дневника:

Июня... Андрей Петрович мне приносит книги, но я их читать не могу. Сознаюсь ему в этом — совестно; отдать книги, солгать, сказать, что читала, — не хочется. Мне кажется, это его огорчит. Он все за мной замечает. Он, кажется, очень ко мне привязан. Очень хороший человек Андрей Петрович.

...Чего мне хочется? Отчего у меня так тяжело на сердце, так томно? Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц? Кажется, полетела бы с ними, полетела — куда, не знаю, только далеко-далеко отсюда. И не грешно ли это желание? У меня здесь мать, отец, семья. Разве я не люблю их? Нет, я не люблю их так, как бы хотелось любить. Мне страшно вымолвить это, но это правда. Может быть, я большая грешница; может быть, оттого мне так грустно, оттого мне нет покоя. Какая-то рука лежит на мне и давит меня. Точно я в тюрьме — и вот-вот сейчас на меня повалятся стены. Отчего же другие этого не чувствуют? Кого же я буду любить, если я к своим холодна? Видно, папенька прав — он упрекает меня, что я люблю одних собак да кошек. Надо об этом подумать. Я мало молюсь; надо молиться... А, кажется, я бы умела любить!

...Я все еще робею с господином Инсаровым. Не знаю отчего; я, кажется, не молоденькая, а он такой простой и добрый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему, должно быть, не до нас. Я это чувствую, и мне как будто совестно отнимать у него время. Андрей Петро-

вич — другое дело. Я с ним готова болтать хоть целый день. Но и он мне все говорит об Инсарове. И какие страшные подробности! Я его видела сегодня ночью с кинжалом в руке. И будто он мне говорит: «Я тебя убью и себя убью». Какие глупости!

...О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать. — Быть доброй — этого мало; делать добро... да... это главное в жизни. Но как делать добро! О, если б я могла овладеть собою! Не понимаю, отчего я так часто думаю о господине Инсарове. Когда он приходит, и сидит, и слушает внимательно, а сам не старается, не хлопочет, я гляжу на него, и мне приятно — но только; а когда он уйдет, я все припоминаю его слова, и досажаю на себя и даже волнуясь... сама не знаю отчего. (Он плохо говорит по-французски и не стыдится — это мне нравится.) Впрочем, я всегда много думаю о новых лицах. Разговаривая с ним, я вдруг вспомнила нашего буфетчика Василия, который вытащил из горевшей избы безногого старика и сам чуть не погиб. Папенька назвал его молодцом, мамаша дала ему пять рублей, а мне хотелось ему в ноги поклониться. И у него было простое, даже глупое лицо, и он потом сделался пьяницей.

...Я сегодня подала грош одной нищей, а она мне говорит: «Отчего ты такая печальная?» А я не подозревала, что у меня печальный вид. Я думаю, это оттого происходит, что я одна, все одна, со всем моим добром, со всем моим злом. Некому протянуть руку. Кто подходит ко мне, того не надобно; а кого бы хотела... тот идет мимо.

...Я не знаю, что со мной сегодня, — голова моя путается, я готова упасть на колени и просить, и умолять пощады. Не знаю, кто и как, но меня как будто убивают, и внутренно я кричу, я возмущаюсь; я плачу — и не могу молчать... Боже мой! боже мой! укроти во мне эти порывы! Ты один это можешь — все другое бессильно: ни мои ничтожные милостыни, ни занятия, ничего, ничего, ничего мне помочь не может. Пошла бы куда-нибудь в служанки, право: мне было бы легче.

К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем все это?

...Инсаров... господин Инсаров — а я, право, не знаю,

как писать — продолжает занимать меня. Мне хочется знать, что у него там в душе? Он, кажется, так открыт, так доступен, а мне ничего не видно. Иногда он смотрит на меня какими-то испытующими глазами — или это одна моя фантазия? Полю меня все дразнит — я сердита на Поля. Что ему надобно? Он в меня влюблен — да мне не нужно его любви. Он и в Зою влюблен. Я к нему несправедлива — он мне вчера сказал, что я не умею быть несправедливой вполнину... Это правда. Это очень дурно.

Ах, я чувствую, человеку нужно несчастье, или бедность, или болезнь. А то как раз зазнаешься.

...Зачем Андрей Петрович рассказал мне сегодня об этих двух болгарках! Он как будто с намерением рассказывал мне это. Что мне до господина Инсарова? Я сердита на Андрея Петровича.

...Берусь за перо и не знаю, как начать. Как неожиданно он сегодня заговорил со мной в саду! Как он был ласков и доверчив! Как это скоро сделалось! Точно мы старые-старые друзья — и только сейчас узнали друг друга. Как я могла не понимать его до сих пор! Как он теперь мне близок! И — вот что удивительно: я теперь гораздо спокойнее стала. Мне смешно: вчера я сердилась на Андрея Петровича, на него, я даже назвала его господином Инсаров, а сегодня... Вот, наконец, правдивый человек; вот на кого положиться можно. Этот не лжет; это первый человек, которого я встречаю, который не лжет: все другие лгут, все лжет. Андрей Петрович, милый, добрый, за что же я вас обижаяю?.. Нет! Андрей Петрович, может быть, умнее его, может быть даже умнее... Но, я не знаю, он перед ним такой маленький. Когда тот говорит о своей родине, он растет, растет — и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит — он делал и будет делать. Я его спрошу... Как он вдруг обернулся ко мне и улыбнулся мне... Только братья так улыбаются. Ах, как я довольна! Когда он пришел к нам в первый раз, я никак не думала, что мы так скоро сблизимся. А теперь мне даже нравится, что я в первый раз осталась равнодушной... Равнодушной! Разве я теперь не равнодушна?

...Я давно не чувствовала такого внутреннего спокойствия. Так тихо во мне, так тихо. И записывать нечего. Я его часто вижу — вот и все. Что еще записывать?

...Поль заперся; Андрей Петрович стал реже ходить... бедный! Мне кажется, он... Впрочем, это быть не может. Я люблю говорить с Андреем Петровичем: никогда ни слова о себе, все о чем-нибудь дельном, полезном. Не то что Шубин. Шубин наряжен, как бабочка, да любит-ся своим нарядом; этого бабочки не делают. Впрочем, и Шубин и Андрей Петрович... я знаю, что я хочу сказать.

...Ему приятно к нам ходить, я это вижу. Но отчего? что он нашел во мне? Правда, у нас вкусы похожи: и он и я, мы оба стихов не любим; оба не знаем толка в искусстве. Но насколько он лучше меня! Он спокоен — а я в вечной тревоге; у него есть дорога, есть цель — а я, куда я иду? где мое гнездо? Он спокоен, но все его мысли далеко. Придет время, и он покинет нас навсегда, уйдет к себе, туда, за море. Что ж? Дай бог ему! А я, все-таки, буду рада, что я его узнала, пока он здесь был.

Отчего он не русский? Нет, он не мог быть русским.

И мамаша его любит, говорит — скромный человек. Добрая мамаша! Она его не понимает. Поль молчит: он догадался, что мне его намеки неприятны, но он к нему ревнует. Злой мальчик! И с какого права? Разве я когда-нибудь...

Все это пустяки! Зачем мне это все в голову приходит?

...А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Дмитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не я хочу, то хочет. Кстати, и он и я, мы одни цветы любим. Я сегодня сорвала розу. Один лепесток упал, он его поднял... Я ему отдала всю розу.

...Д. к нам ходит часто. Вчера он просидел целый вечер. Он хочет учить меня по-болгарски. Мне с ним хорошо, как дома... Лучше, чем дома.

...Дни летят... И хорошо мне, и почему-то жутко, и

бога благодарить хочется, и слезы недалеко О, теплые, светлые дни!

...Мне все попрежнему легко — и только изредка, изредка немножко грустно. Я счастлива... Счастлива ли я?

...Долго не забуду я вчерашней поездки. Какие странные, новые, страшные впечатления! Когда он вдруг взял этого великана и швырнул его, как мячик, в воду, я не испугалась... но он меня испугал. И потом, какое лицо злое — почти жестокое! Как он сказал: выплывет! Это меня перевернуло. Стало быть, я его не понимала. И потом, когда все смеялись, когда я смеялась, как мне было больно за него! Он стыдился, я это чувствовала, он меня стыдился. Он мне это сказал потом в карете, в темноте, когда я старалась его разглядеть и боялась его. Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умест. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя! Нельзя быть мужчиной, бойцом — и остаться кротким и мягким? Жизнь — дело грубое, сказал он мне недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу — он не согласился с Д. Кто из них прав? А как начался этот день! Как мне было хорошо идти с ним рядом, даже молча... Но я рада тому, что случилось. Видно, так следовало.

...Опять беспокойство... Я не совсем здорова.

...Я все эти дни ничего не записывала в этой тетрадке, потому что писать не хотелось. Я чувствовала: что бы я ни написала, все будет не то, что у меня на душе... А что у меня на душе? Я имела с ним большой разговор, который мне открыл многое. Он мне рассказал свои планы (кстати, я теперь знаю, отчего у него рана на шее... Боже мой! Когда я подумаю, что он уже был приговорен к смерти, что он едва спасся, что его иранили...). Он предчувствует войну и радуется ей. И со всем тем я никогда не видела Д. таким грустным... О чем он... он!.. может грустить? Папенька из города вернулся, застал нас обоих и как-то странно поглядел на нас. Андрей Петрович пришел: я заметила, что он очень стал худ и бледен. Он упрекнул меня, будто бы я уж слишком холодно и небрежно обращаюсь с Шубиным. А я совсем и забыла о Поле. Увижу его, постараюсь заглядеть свою вину. Мне теперь не до него...

и ни до кого в мире. Андрей Петрович говорил со мной с каким-то сожалением. Что все это значит? Отчего так темно вокруг меня? — и во мне? Мне кажется, что вокруг меня и во мне происходит что-то загадочное, что нужно найти слово...

...Я не спала ночь — голова болит. К чему писать? Он сегодня ушел так скоро, а мне хотелось поговорить с ним... Он как будто избегает меня. Да, он меня избегает.

...Слово найдено, свет озарил меня! Боже! сжался надо мною... Я влюблена!

XVII

В тот самый день, когда Елена вписывала это последнее, роковое слово в свой дневник, Инсаров сидел у Берсенева в комнате, а Берсенов стоял перед ним с выраженьем недоумения на лице. Инсаров только что сообщил ему о своем намеренье на другой же день переехать в Москву.

— Помилуйте, — воскликнул Берсенов, — теперь наступает самое красное время. Что вы будете делать в Москве? Что за внезапное решение! Или вы получили какое-нибудь известие...

— Я никакого известия не получал, — возразил Инсаров, — но, по моим соображениям, мне нельзя здесь оставаться.

— Да как это можно...

— Андрей Петрович, — проговорил Инсаров: — будьте так добры, не настаивайте, прошу вас. Мне самому тяжело расстаться с вами, да делать нечего.

Берсенов пристально посмотрел на него.

— Я знаю, — проговорил он наконец: — вас не убедить. Итак, это дело решенное?

— Совершенно решенное, — отвечал Инсаров, встал и удалился.

Берсенов прошелся по комнате, взял шляпу и отправился к Стаховым.

— Вы имеете сообщить мне что-то, — сказала ему Елена, как только они остались вдвоем.

— Да... почему вы догадались?

— Это все равно. Говорите, что такое?
Берсенева передала ей решение Инсарова.
Елена побледила.

— Что это значит? — произнесла она с трудом.

— Вы знаете, — промолвил Берсенева, — что Дмитрий Пиканорыч не любит отдавать отчета в своих поступках. Но я думаю... Сядемте, Елена Николаевна, вы как будто не совсем здоровы... Я, кажется, могу догадаться, какая, собственно, причина этого внезапного отъезда.

— Какая, какая причина? — повторила Елена, крепко стискивая, и сама того не замечая, руку Берсенева в своей похолодевшей руке.

— Вот видите ли, — начал Берсенева с грустной улыбкой: — как бы это вам объяснить? Придется мне возвратиться к нынешней весне, к тому времени, когда я ближе познакомился с Инсаровым. Я тогда встретился с ним в доме одного родственника; у этого родственника была дочка, очень хорошенькая. Мне показалось, что Инсаров к ней равнодушен, и я сказал ему это. Он рассмеялся и отвечал мне, что я ошибался, что сердце его не пострадало, но что он немедленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случилось, так как он не желает — это были его собственные слова — для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу. «Я болгар, — сказал он, — и мне русской любви не нужно»...

— Ну... и что же... вы теперь... — прошептала Елена, невольно отворачивая голову, как человек, ожидающий удара, но все не выпуская схваченной руки Берсенева.

— Я думаю, — промолвил он и сам понизил голос: — я думаю, что теперь сбылось то, что я тогда напрасно предполагал.

— То-есть... вы думаете... не мучьте меня! — вырвалось вдруг у Елены.

— Я думаю, — поспешно подхватил Берсенева, — что Инсаров полюбил теперь одну русскую девушку и, по обещанию своему, решается бежать.

Елена еще крепче стиснула его руку и еще ниже наклонила голову, как бы желая спрятать от чужого взора румянец стыда, обливший внезапным пламенем все лицо ее и шею.

— Андрей Петрович, вы добры, как ангел, — проговорила она: — но ведь он придет проститься?

— Да, я полагаю, наверное он придет, потому что не захочет уехать...

— Скажите ему, скажите...

Но тут бедная девушка не выдержала — слезы хлынули у ней из глаз, и она выбежала из комнаты.

«Так вот как она его любит, — думал Берснев, медленно возвращаясь домой. — Я этого не ожидал; я не ожидал, что это уже так сильно. Я добр, говорит она... — продолжал он свои размышления. — Кто скажет, в силу каких чувств и побуждений я сообщил все это Елене? Но не по доброте, не по доброте. Все проклятое желание убедиться, действительно ли кипжал сидит в ране... Я должен быть доволен — они любят друг друга, и я им помог... «Будущий посредник между наукой и российской публикой», зовет меня Шубин; видно, мне на роду написано быть посредником. Но если я ошибся? Нет, я не ошибся...»

Горько было Андрею Петровичу, и не шел ему в голову Раумер.

На следующий день, часу во втором, Инсаров явился к Стаховым. Как нарочно, о ту пору в гостиной Анны Васильевны сидела гостя, соседка-протопопица, очень хорошая и почтенная женщина, но имевшая маленькую неприятность с полицией за то, что вздумала в самый припек жара выкупаться в пруду, близ дороги, по которой часто проезжало какое-то важное генеральское семейство. Присутствие постороннего лица было сперва даже приятно Елене, у которой кровинки в лице не осталось, как только она услышала походку Инсарова; но сердце у ней замерло при мысли, что он может проститься, не поговоривши с ней наедине. Он же казался смущенным и избегал ее взгляда. «Неужели он сейчас будет прощаться?» думала Елена. Действительно, Инсаров обратился было к Анне Васильевне; Елена поспешно встала и отозвала его в сторону, к окну. Протопопица удивилась и попыталась обернуться, но она так туго затянулась, что корсет скрипел на ней при каждом движении. Она осталась неподвижною.

— Послушайте, — торопливо проговорила Елена: — я знаю, зачем вы пришли: Андрей Петрович сообщил

мне ваше намерение, но я прошу вас, я вас умоляю, не прощаться с нами сегодня, а прийти завтра сюда пораньше, часов в одиннадцать. Мне нужно сказать вам два слова.

Инсаров молча наклонил голову.

— Я вас не буду удерживать... Вы мне обещаете?

Инсаров опять поклонился, но ничего не сказал.

— Леночка, поди сюда, — промолвила Анна Васильевна: — посмотри, какой у матушки чудесный ридикюль¹.

— Сама вышивала, — заметила протопопица.

Елена отошла от окна.

Инсаров остался не более четверти часа у Стаховых. Елена наблюдала за ним украдкой. Он переминался на месте, попрежнему не знал, куда девать глаза, и ушел как-то странно: внезапно — точно исчез.

Медлительно прошел этот день для Елены; еще медлительнее протянулась долгая-долгая ночь. Елена то сидела на кровати, обняв колени руками и положив на них голову, то подходила к окну — прикладывалась горячим лбом к холодному стеклу — и думала, думала, до изнурения думала всё одни и те же думы. Сердце у ней не то окаменело, не то исчезло из груди — она его не чувствовала, но в голове тяжело бились жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли. «Он придет... он не простился с мамашей... он не обманет... Неужели Андрей Петрович правду сказал? Быть не может. Он словами не обещал прийти... Неужели я навсегда с ним рассталась?..» Вот такие мысли не покидали ее... именно не покидали; они не приходили, не возвращались — они беспрестанно колыхались в ней, как туман. «Он меня любит!» вспыхивало вдруг во всем ее существе, и она пристально глядела в темноту; никому невидимая тайная улыбка раскрывала ее губы... но она тотчас встряхивала головой, выносила к затылку сложенные пальцы рук, и снова, как туман, колыхались в ней прежние думы. Перед утром она разделась и легла в постель, но заснуть не могла. Первые огненные лучи солнца ударили в ее комнату... «О, если он меня любит!» воскликнула она вдруг

¹ Ридикюль — ручная дамская сумка.

и, не стыдясь озарившего ее света, раскрыла свои объятия...

Она встала, оделась, сошла вниз. Еще никто не просыпался в доме. Она пошла в сад; но в саду так было тихо, и зелено, и свежо, так доверчиво чирикали птицы, так радостно выглядывали цветы, что ей жутко стало. «О! — подумала она, — если это правда, нет ни одной травки счастливее меня, — да правда ли это?» Она вернулась в свою комнату и, чтобы как-нибудь убить время, стала менять платье. Но все у ней падало и скользило из рук, и она еще сидела, полураздетая, перед своим туалетным зеркальцем, когда ее позвали чай пить. Она сошла вниз; мать заметила ее бледность, но сказала только: «Какая ты сегодня интересная», и, окинув ее взглядом, прибавила: «Это платье очень к тебе идет; ты его всегда надевай, когда вздумаешь кому понравиться». Елена ничего не отвечала и села в уголок. Между тем пробил девять часов; до одиннадцати оставалось еще два часа. Елена взялась за книгу, потом за шитье, потом опять за книгу; потом она дала себе слово пройтись сто раз по одной аллее и прошлась сто раз; потом она долго смотрела, как Анна Васильевна пасьянс раскладывала... да взглянула на часы: еще десяти не было. Шубин пришел в гостиную. Она попыталась заговорить с ним и извинилась перед ним, сама не зная в чем... Каждое ее слово не то чтобы усилием ей стоило, но возбуждало в ней самой какое-то недоумение. Шубин нагнулся к ней... Она ожидала насмешки, подняла глаза и увидела перед собою печальное и дружжелюбное лицо... Она улыбнулась этому лицу. Шубин тоже улыбнулся ей молча и тихонько вышел. Она хотела удержать его, но не тотчас вспомнила, как позвать его. Наконец пробил одиннадцать часов. Она стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже ничего не могла делать; она перестала даже думать. Сердце в ней ожило и стало биться громче, все громче, и странное дело! время как будто помчалось быстрее. Прошло четверть часа, прошло полчаса, прошло еще несколько минут, по мнению Елены, и вдруг она вздрогнула: часы пробили не двенадцать, они пробили час. «Он не придет, он уедет, не простясь...» Эта мысль, вместе с кровью, так и бросилась ей в голову. Она почувствовала, что

дыхание ей захватывает, что она готова зарыдать... Она побежала в свою комнату и упала, лицом на сложенные руки, на постель.

Полчаса пролежала она неподвижно. Сквозь ее пальцы на подушку лились слезы. Она вдруг приподнялась и села; что-то странное совершалось в ней: лицо ее изменилось, влажные глаза сами собой высохли и заблестели, брови надвинулись, губы сжались. Прошло еще полчаса. Елена в последний раз прищипнула ухом: не долетит ли до нее знакомый голос — встала, надела шляпу, перчатки, накинула мантилью¹ на плечи и, незаметно выскользнув из дома, пошла проворными шагами по дороге, ведущей к квартире Берсенева.

XVIII

Елена шла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперед. Она ничего не боялась, она ничего не соображала; она хотела еще раз увидаться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелыми черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях и клубил ее платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбом по дороге... Крупный дождик закапал, она и его не замечала; но он пошел все чаще, все сильнее, сверкнула молния, гром ударил. Елена остановилась, посмотрела вокруг... К ее счастью, невдалеке от того места, где застала ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колодцем. Она добежала до нее и вошла под низенький навес. Дождь хлынул ручьями; небо кругом обложилось. С немым отчаянием глядела Елена на частую сетку быстро падавших капель. Последняя надежда увидаться с Инсаровым исчезала. Старушка-нищая бошла в часовенку, отряхнулась, проговорила с поклоном: «От дождя, матушка», и, кряхтя и охая, присела на уступчик возле колодца. Елена опустила руку в карман: старушка заметила это движение, и лицо ее, сморщенное и желтое, но когда-то красивое, оживилось. «Спасибо тебе, кормилица, родная», начала она. В кар-

¹ Мантилья — короткая женская накидка без рукавов.

мане Елены не нашлось кошелька, а старушка протягивала уже руку...

— Денег у меня нет, бабушка, — сказала Елена, — а вот, возьми, на что-нибудь пригодится.

Она подала ей свой платок.

— О-ох, красавица ты моя, — проговорила нищая, — да на что же мне платочек твой! Разве внучке подарить, когда замуж выходить будет? Пошли тебе господь за твою доброту!

Раздался удар грома.

— Господи, Иисусе Христе, — пробормотала нищая и перекрестилась три раза. — Да, никак, я уже тебя видела, — прибавила она, погодя немного. — Никак, ты мне христову милостыню подавала?

Елена взгляделась в старуху — и узнала ее.

— Да, бабушка, — отвечала она. — Ты еще меня спросила, отчего я такая печальная.

— Так, голубка, так. То-то я тебя признала. Да ты и теперь словно кручинна живешь. Вот и платочек твой мокрый, знать от слез. Ох, вы, молодушки, всем вам одна печаль, горе великое!

— Какая же печаль, бабушка?

— Какая? Эх, барышня хорошая, не моги ты со мной, со старухой, лукавить. Знаю я, о чем ты тужишь: не сиротское твое горе. Ведь и я была молода, светик, мытарства-то эти я тоже проходила. Да. А я тебе, за твою доброту, вот что скажу: попался тебе человек хорший, не ветреник, ты уже держись одного; крепче смерти держись. Уж быть так быть; а не быть, видно, богу так угодно. Да. Ты что на меня дивнисься? Я та же ворожея. Хошь, унесу с твоим платочком все твое горе? Унесу — и полно. Вишь, дождик реденький пошел; ты-то подожди еще, а я пойду. Меня ему не впервой мочить. Помни же, голубка: была печаль, сплыла печаль — и помину ей нет. Господи, помилуй!

Нищая приподнялась с уступчика, вышла из часовенки и поплелась своей дорогой. Елена с изумленьем посмотрела ей вслед. «Что это значит?» прошептала она невольно.

Дождик сеялся все мельче и мельче, солнце заиграло на мгновенье. Елена собиралась покинуть свое убежище... Вдруг, в десяти шагах от часовни, она увидела

Инсарова. Закутанный плащом, он шел по той же самой дороге, по которой пришла Елена; казалось, он спешил домой.

Она оперлась рукой о ветхое перильце крылечка, хотела позвать его, но голос изменил ей... Инсаров уже проходил мимо, не поднимая головы...

— Дмитрий Никанорыч! — проговорила она наконец.

Инсаров внезапно остановился, оглянулся... В первую минуту он не узнал Елены, но тотчас же подошел к ней.

— Вы! вы здесь! — воскликнул он.

Она отступила молча в часовню. Инсаров последовал за Еленой.

— Вы здесь? — повторил он.

Она продолжала молчать и только глядела на него каким-то долгим, мягким взглядом. Он опустил глаза.

— Вы шли от нас? — спросила она его.

— Нет... не от вас.

— Нет? — повторила Елена и постаралась улыбнуться. — Так-то вы держите ваши обещания? Я вас ждала с утра.

— Я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не обещал.

Елена опять едва улыбнулась и провела рукой по лицу. И лицо и рука были очень бледны.

— Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами?

— Да, — сурово и глухо промолвил Инсаров.

— Как? После нашего знакомства, после этих разговоров, после всего... Стало быть, если б я вас здесь не встретила случайно (голос Елены зазвенел, и она умолкла на мгновение)... так бы вы и уехали, и руки бы мне не пожали в последний раз — и вам бы не было жаль?

Инсаров отвернулся.

— Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и без того невесело. Поверьте, мое решение мне стоило больших усилий. Если б вы знали...

— Я не хочу знать, — с испугом перебила его Елена. — зачем вы едете... Видно, так нужно. Видно, нам должно расстаться. Вы без причины не захотели бы оборвать ваших друзей. Но разве так расстанутся друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли?

— Нет, — сказал Инсаров.

— Как?.. — промолвила Елена. Щеки ее покрылись легким румянцем.

— Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу.

— Вы прежде были со мной откровенны, — с легким упреком произнесла Елена. — Помните?

— Тогда я мог быть откровенным — тогда мне скрывать было нечего; а теперь...

— А теперь? — спросила Елена.

— А теперь... А теперь я должен удалиться. Прощайте.

Если бы в это мгновение Инсаров поднял глаза на Елену, он бы заметил, что лицо ее все больше светлело, чем больше он сам хмурился и темнел; но он упорно глядел на пол.

— Ну, прощайте, Дмитрий Никанорыч, — начала она. — Но, по крайней мере, так как мы уже встретились, дайте мне теперь вашу руку.

Инсаров протянул было руку.

— Нет, и этого я не могу, — промолвил он и отвернулся снова.

— Не можете?

— Не могу. Прощайте.

И он направился к выходу часовни.

— Погодите еще немножко, — сказала Елена. — Вы как будто боитесь меня. А я храбрее вас, — прибавила она с внезапной легкой дрожью во всем теле. — Я могу вам сказать... хотите?.. отчего вы меня здесь застали? Знаете ли, куда я шла?

Инсаров с изумленьем посмотрел на Елену.

— Я шла к вам.

— Ко мне?

Елена закрыла лицо.

— Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю, — прошептала она: — вот... я сказала.

— Елена! — вскрикнул Инсаров.

Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь.

Он крепко обнял ее — и молчал. Ему не нужно было говорить ей, что он ее любит. Из одного его восклица-

ния, из этого мгновенного преобразования всего человека, из того, как поднималась и опускалась эта грудь, к которой она так доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к ее волосам, Елена могла понять, что она любима. Он молчал — и ей не нужно было слов. «Он тут, он любит... чего ж еще?» Тишина блаженства, тишина невозмутимой пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой смерти придает и смысл и красоту, наполнила ее всю своей божественной волной. Она ничего не желала, потому что она обладала всем. «О мой брат, мой друг, мой милый!..» шептали ее губы, и она сама не знала, чье это сердце, его ли, ее ли, так сладостно билось и таяло в ее груди.

А он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощущал на груди это новое, бесконечно дорогое бремя; чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило впрах его твердую душу, и никогда еще не изведенные слезы навернулись на его глаза...

А она не плакала: она твердила только: «О мой друг! о мой брат!»

— Так ты пойдешь за мною всюду? — говорил он ей четверть часа спустя, попрежнему окружая и поддерживая ее своими объятиями.

— Всюду — на край земли. Где ты будешь, там я буду.

— И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак?

— Я себя не обманываю; я это знаю.

— Ты знаешь, что я беден, почти нищий?

— Знаю.

— Что я не русский, что мне не суждено жить в России — что тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с родными?

— Знаю, знаю.

— Ты знаешь также, что я посвятил себя делу трудному, неблагоприятному, что мне... что нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть может?

— Знаю, все знаю... Я тебя люблю.

— Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там, одна, между чужими, ты, может быть, принуждена будешь работать...

Она положила ему руку на губы.

— Я люблю тебя, мой милый.

Он начал горячо целовать ее узкую розовую руку. Елена не отнимала ее от его губ и с какою-то детской радостью, с смеющимся любопытством глядела, как он покрывал поцелуями то самую руку ее, то пальцы...

Вдруг она покраснела и спрятала свое лицо на его груди.

Он ласково приподнял ее голову и пристально посмотрел ей в глаза.

— Так здравствуй же, — сказал он ей, — моя жена перед людьми и перед богом!

XIX

Час спустя Елена, с шляпою в одной руке, с мантилей в другой, тихо входила в гостиную дачи. Волосы ее слегка развилась, на каждой щеке виднелось маленькое розовое пятнышко, улыбка не хотела сойти с ее губ, глаза смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались. Она едва переступала от усталости, и ей была приятна эта усталость: да и все ей было приятно. Все казалось ей милым и ласковым. Увар Иваныч сидел под окном; она подошла к нему, положила ему руку на плечо, потянулась немного и как-то невольно засмеялась.

— Чему? — спросил он удивившись.

Она не знала, что сказать. Ей хотелось поцеловать Увара Иваныча.

— Плашмя!.. — промолвила она наконец.

Но Увар Иваныч даже бровью не повел и продолжал с удивлением глядеть на Елену. Она уронила на него и мантилью и шляпу.

— Милый Увар Иваныч, — проговорила она, — я спать хочу, я устала, — и она опять засмеялась и упала на кресло возле него.

— Гм, — крикнул Увар Иванович и заиграл пальцами. — Это, надо бы, да...

А Елена глядела вокруг себя и думала: «Со всем этим я скоро должна расстаться... и странно: нет во мне ни страха, ни сомнения, ни сожаления... Нет, мамаша жалко!» Потом опять возникла перед ней часовенка, прозвучал опять его голос, она почувствовала вокруг себя его руки. Сердце ее радостно, но слабо шевельнулось: истома счастья лежала и на нем. Вспомнилась ей старушка-нищая. «Точно, унесла она мое горе», подумала она. «О, как я счастлива! как незаслуженно! как скоро!» Ей бы стоило дать себе крошечку воли, и полились бы у ней сладкие, нескончаемые слезы. Она удерживала их только тем, что посмеивалась. Какое положение она ни принимала, ей казалось, что уж лучше и ловчее нельзя: точно ее баюкали. Все движения ее были медленны и мягки; куда девалась ее торопливость, ее угловатость? Вошла Зоя: Елена решила, что она не видала прелестнее личика; Анна Васильевна вошла: что-то кольнуло Елену, но с какой нежностью она обняла свою добрую мать и поцеловала ее в лоб, подле волод, уже слегка поседелых! Потом она отправилась в свою комнатку: как там ей все улыбнулось! С каким чувством стыдливого торжества и смирения села она на свою кровать, на ту самую кровать, где три часа тому назад она провела такие горькие мгновенья! «А ведь уж я тогда знала, что он меня любит, — подумала она, — да и прежде... Ай, нет! нет! это грех». «Ты моя жена...» прошептала она, закрывшись руками, и бросилась на колени.

К вечеру она стала задумчивей. Грусть ее взяла при мысли, что она не скоро увидится с Инсаровым. Он не мог, не возбуждая подозрения, оставаться у Берсенева, и потому вот на чем они с Еленой порешили: Инсаров должен был вернуться в Москву и приехать к ним в гости раза два до осени; с своей стороны, она обещалась писать ему письма и, если будет можно, назначить ему свидание, где-нибудь около Кунцова. К чаю она сошла в гостиную и застала там всех своих домашних и Шубина, который зорко посмотрел на нее, как только она появилась; она хотела было заговорить с ним дружески, по-старому, да боялась его пронизательности, боялась самой себя. Ей сдавалось, что он недаром более двух недель оставлял ее в покое. Скоро пришел Берснев и

передал Анне Васильевне поклон от Инсарова вместе с извинением его в том, что он вернулся в Москву, не засвидетельствовав ей своего почтения. Имя Инсарова в первый раз в течение дня произносилось перед Еленой; она почувствовала, что покраснела — она поняла в то же время, что ей следовало выразить сожаление о внезапном отъезде такого хорошего знакомого; но она не могла принудить себя к притворству и продолжала сидеть неподвижно и безмолвно, между тем как Анна Васильевна охала и горевала. Елена старалась держаться около Берсенева; она его не боялась, хоть он и знал часть ее тайны, она спасалась под его крылышко от Шубина, который все продолжал посматривать на нее — не насмешливо, но внимательно. На Берсенева в течение вечера тоже находило недоуменье: он ожидал, что увидит Елену более печальной. К счастью ее, между ним и Шубиным завязался спор об искусстве; она отодвинулась и, словно сквозь сон, слушала их голоса. По-немногу не только они, но и вся комната, все, что окружало ее, показалось ей как бы сном — все: и самовар на столе, и коротенький жилет Увара Ивановича, и гладкие ногти Зои, и масляный портрет великого князя Константина Павловича на стене; все уходило, все покрывалось дымкой, все переставало существовать. Только жаль ей было их всех. «Для чего живут?» думала она.

— Ты спать хочешь, Леночка? — спросила ее мать. Она не слышала вопроса матери.

— Полусправедливый намек, говоришь ты?.. — Эти слова, резко произнесенные Шубиным, внезапно возбудили внимание Елены. — Помилуй, — продолжал он, — в этом-то самый вкус и есть. Справедливый намек возбуждает уныние — это не по-христиански, к несправедливому человеку равнодушен — это глупо; а от полусправедливого он и досаду чувствует и нетерпение. Например, если я скажу, что Елена Николаевна влюблена в одного из нас, какого рода это будет намек? ась?

— Ах, мсье Поль, — проговорила Елена, — я бы хотела показать вам мою досаду, да, право, не могу. Я очень устала.

— Что ж ты не ляжешь? — промолвила Анна Васильевна, которая вечером сама всегда дремала и отто-

го охотно посылала спать других. — Простись со мной да ступай с богом. Андрей Петрович извинит.

Елена поцеловала свою мать, поклонилась всем и пошла. Шубин проводил ее до двери.

— Елена Николаевна, — шепнул он ей на пороге, — вы топчете мсье Поля; вы безжалостно ходите по нем, а мсье Поль благословляет вас и ваши ножки, и башмаки на ваших ножках, и подошвы ваших башмаков.

Елена пожала плечом, нехотя протянула ему руку — не ту, которую целовал Инсаров — и, вернувшись к себе в комнату, тотчас разделась, легла и заснула. Она спала глубоким, безмятежным сном... так даже дети не спят: так спит только выздоровевший ребенок, когда мать сидит возле его колыбельки и глядит на него и слушает его дыхание.

XX

— Зайди ко мне на минутку, — сказал Берсенев Шубин, как только тот простился с Анной Васильевной: — у меня есть кое-что тебе показать.

Берсенев отправился к нему во флигель. Его поразило множество студий, статуэток и бюстов, окутанных мокрыми тряпками и расставленных по всем уголкам комнаты.

— Да ты, я вижу, работаешь не на шутку, — заметил он Шубину.

— Что-нибудь надобно ж делать, — ответил тот. — Одно не везет, надо пробовать другое. Впрочем, я, как корсиканец, занимаюсь больше вендеттой¹, нежели чистым искусством. *Trem, Bisanzia!*²

— Я тебя не понимаю, — проговорил Берсенев.

— А вот, погоди. Вот, извольте поглядеть, любезный друг и благодетель, мою месть номер первый.

Шубин раскутал одну фигуру, и Берсенев увидел отменно схожий, отличный бюст Инсарова. Черты лица

¹ Вендетта (итал.) — кровная месть, обычай мстить за убитого родственника у корсиканцев.

² *Trem, Bisanzia!* (итал.) — Трепещи, Византия! Слова одного из персонажей оперы композитора Доницетти «Велизарий» (1836); была поставлена в Петербурге в сезоне 1839/40 года и долго оставалась в репертуаре.

были схвачены Шубиным верно до малейшей подробности, и выражение он им придал славное: честное, благородное и смелое.

Берсенева пришел в восторг.

— Да это просто прелесть! — воскликнул он. — Поздравляю тебя. Хоть на выставку! Почему ты называешь это великолепное произведение мезью?

— А потому, сэр, что я намерен поднести это, как вы изволили выразиться, великолепное произведение Елене Николаевне в день ее именины. Понимаете вы сноу аллегория? Мы не слепые, мы видим, что около нас происходит, но мы джентльмены, милостивый государь, и мстим по-джентльменски.

— А вот, — прибавил Шубин, раскутывая другую фигуру: — так как художник, по новейшим эстетикам, пользуется завидным правом воплощать в себе всякие мерзости, возводя их в перл создания, то мы, при возведении сего перла, номера второго, мстили уже вовсе не как джентльмены, а просто en canaille¹.

Он ловко сдернул полотно — и взорам Берсенева предстала статуэтка, в дантановском вкусе, того же Инсарова. Злее и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии «супруга овец тонкорунных» — и между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенева не мог не расхохотаться.

— Что? забавно? — промолвил Шубин. — Узнал ироя? На выставку тоже советуешь послать? Это, братец ты мой, я сам себе в собственные именины подарю... Ваше высокоблагородие, позвольте выкинуть колени!

И Шубин прыгнул раза три, ударяя себя сзади по-дошвами.

Берсенева поднял с полу полотно и забросил им статуэтку.

— Ох, ты великодушный, — начал Шубин: — кто, бишь, в истории считается особенно великодушным? Ну, все равно! А теперь, — продолжал он, торжественно и

¹ En canaille (франц.) — как негодяи, канальи.

печально раскутывая третью, довольно большую массу глины, — ты узришь нечто, что докажет тебе смиренномудрие и прозорливость твоего друга. Ты убедишься в том, что он, опять-таки как истинный художник, чувствует потребность и пользу собственного заушения. Взгляни!

Полотно взвилось — и Берсенеv увидел две рядом и близко поставленные, точно сросшиеся головы... Он не тотчас понял, в чем дело, но, приглянувшись, узнал в одной из них Аннушку, в другой самого Шубина. Впрочем, это были скорее карикатуры, чем портреты. Аннушка была представлена красивой, жирной девкой с низким лбом, заплывшими глазами и бойко вздернутым носом. Ее крупные губы нагло ухмылялись; все лицо выражало чувственность, беспечность и удачу, не без добродушия. Себя Шубин изобразил испитым, исхудалым жуиром¹, с ввалившимися щеками, с бессильно висящими косицами жидких волос, с бессмысленным выражением в погасших глазах, с заостренным, как у мертвеца, носом.

Берсенеv отвернулся с отвращением.

— Какова двоешка, брат? — промолвил Шубин. — Не соблаговолншь ли сочинить приличную подпись? К первым двум штукам я уже подписи придумал. Под бюстом будет стоять: «Герой, намеревающийся спасти свою родину». Под статуэткой: «Берегитесь, колбасники!» А под этой штукой — как ты думаешь? — «Будущность художника Павла Яковлева Шубина»... Хорошо?

— Перестань, — возразил Берсенеv. — Стоило терять время на такую... — Он не тотчас подобрал подходящее слово.

— Гадость, хочешь ты сказать? Нет, брат, извини, уж коли чему на выставку идти, так этой группе.

— Именно гадость, — повторил Берсенеv. — Да и что за вздор? В тебе вовсе нет тех залогов подобного развития, которым до сих пор, к несчастью, так обильно одарены наши артисты. Ты, просто, наклеветал на себя.

— Ты полагаешь? — мрачно проговорил Шубин. — Если во мне их нет и если они ко мне привьются, то в этом будет виновата... одна особа. Ты знаешь ли, — при-

¹ Жуир (франц.) — человек, ищущий в жизни только удовольствий.

бавил он, трагически нахмурив брови, — что я уже пробовал пить?

— Врешь?!

— Пробовал, ей-богу, — возразил Шубин и вдруг ослабился и просветлел: — да невкусно, брат, в горло не лезет, и голова потом, как барабан. Сам великий Луцихин — Харлампий Луцихин, первая московская, а по другим, великороссийская воронка — объявил, что из меня проку не будет. Мне, по его словам, бутылка ничего не говорит.

Берсенеv замахнулся было на группу, но Шубин остановил его.

— Полно, брат, не бей; это как урок годится, как пугало.

Берсенеv засмеялся.

— В таком случае, пожалуй, пощажу твое пугало, — промолвил он: — и да здравствует вечное, чистое искусство!

— Да здравствует, — подхватил Шубин. — С ним и хорошее лучше и дурное не беда.

Прятели крепко пожали друг другу руку и разошлись.

XXI

Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели? неужели?» спрашивала она себя — и сердце ее замирало от счастья. Воспоминания пахлынули на нее... она потонула в них. Потом опять ее осенила та блаженная, восторженная тишина. Но в течение утра Еленой понемпогу овладело беспокойство, а в следующие дни ей стало и томно и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотела, но от этого ей не было легче. То незабвенное свидание выбросило ее навсегда из старой колеи: она уже не стояла в ней — она была далеко, — а между тем кругом все совершалось обычным порядком, все шло своим чередом, как будто ничего не изменилось; прежняя жизнь попрежнему двигалась, попрежнему рассчитывая на участие и содействие Елены. Она пыталась пачать письмо к Инсарову, но и это не удалось: слова выходили на бумаге не то мертвые, не то лживые. Дневник свой она покончила — она

под последней строкой провела большую черту. То было прошедшее, а она всеми помыслами своими, всем существом ушла в будущее. Ей было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей, выслушивать ее, отвечать ей, говорить с ней — казалось Елене чем-то преступным; она чувствовала в себе присутствие какой-то фальши, она возмущалась, хотя краснеть ей было не за что; не раз поднималось в ее душе почти непреодолимое желание высказать все без утайки, что бы там ни было потом. «Для чего, — думала она, — Дмитрий не тогда же, не из этой часовни увел меня, куда хотел? Не сказал ли он мне, что я его жена перед богом? Зачем я здесь?» Она вдруг стала дичиться всех, даже Увара Иваныча, который более чем когда-либо недоумевал и играл перстами. Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном не казалось ей все окружающее — оно, как кошмар, давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем; оно как будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотело... Ты, мол, все-таки наша. Даже ее бедные питомцы, угнетенные птицы и звери, глядели на нее — по крайней мере так чудилось ей — недоверчиво и враждебно. Ей становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки мой дом, — думала она, — моя семья, моя родина...» — «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья», твердил ей другой голос. Страх овладевал ею, и она досадовала на свое малодушие... Беда только начиналась, а уж она теряла терпение... То ли она обещала?

Не скоро она овладела с собою. Но прошла неделя, другая... Елена немного успокоилась и привыкла к новому своему положению. Она написала две маленькие записочки Инсарову и сама отнесла их на почту — она бы ни за что, и из стыдливости и из гордости, не решилась довериться горничной. Она начинала уже ждать его самого — но вместо его в одно прекрасное утро прибыл Николай Артемьевич.

XXII

Еще никто в доме отставного гвардии поручика Стахова не видал его таким кислым и в то же время таким самоуверенным и важным, как в тот день. Он вошел в

гостиную в пальто и шляпе — вошел медленно, широко расставляя ноги и стуча каблуками; приблизился к зеркалу и долго смотрел на себя, с спокойной строгостью покачивая головой и кусая губы. Анна Васильевна встретила его с наружным волнением и тайной радостью (она его иначе никогда не встречала); он даже шляпы не снял, не поздоровался с нею и молча дал Елене поцеловать свою замшевую перчатку. Анна Васильевна стала его расспрашивать о курсе лечения — он ничего не отвечал ей; явился Увар Иваныч, — он взглянул на него и сказал: «Ба!» С Уваром Иванычем он вообще обошелся холодно и свысока, хотя признавал в нем «следы настоящей Стаховской крови». Известно, что почти все русские дворянские фамилии убеждены в существовании исключительных, породистых особенностей, им одним свойственных: нам не однажды довелось слышать толки «между своими» о «подсаласкинских» посах и «перепревских» затылках. Зоя вошла и присела перед Николаем Артемьевичем. Он крикнул, опустился в кресла, потребовал себе кофею и только тогда снял шляпу. Ему принесли кофею; он выпил чашку и, посмотрев поочередно на всех, промолвил сквозь зубы: «Sortez, s'il vous plait»¹, и, обратившись к жене, прибавил: «et vous, madame, restez, je vous prie»².

Все вышли, кроме Анны Васильевны. У ней голова задрожала от волнения. Торжественность приемов Николая Артемьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновенного.

— Что такое! — воскликнула она, как только дверь затворилась.

Николай Артемьевич бросил равнодушный взгляд на Анну Васильевну.

— Ничего особенного, что это у вас за манера тотчас принимать вид какой-то жертвы? — начал он, безо всякой нужды опуская углы губ на каждом слове. — Я только хотел вас предупредить, что у нас сегодня будет обедать новый гость.

— Кто такой?

¹ Sortez, s'il vous plait (франц.) — Уйдите, пожалуйста.

² Et vous, madame, restez, je vous prie (франц.) — А вас, сударыня, я попрошу остаться.

— Курнатовский, Егор Андреич. Вы его не знаете. Обер-секретарь в сенате.

— Он будет сегодня у нас обедать?

— Да.

— И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти?

Николай Артемьич снова бросил на Анну Васильевну взгляд — на этот раз уже иронический.

— Вас это удивляет? Погодите удивляться.

Он умолк. Анна Васильевна тоже помолчала немного.

— Я желала бы... — заговорила она.

— Я знаю, вы меня всегда считали за «нимморально-го»¹ человека, — начал вдруг Николай Артемьич.

— Я! — с изумленьем пробормотала Анна Васильевна.

— И, может быть, вы и правы. Я не хочу отрицать, что, действительно, я вам иногда подавал справедливый повод к неудовольствию («серые лошади», промелькнуло в голове Анны Васильевны), хотя вы сами должны согласиться, что при известном вам состоянии вашей конституции...

— Да я вас несколько не обвиняю, Николай Артемьич.

— *C'est possible*². Во всяком случае, я не намерен себя оправдывать. Меня оправдает время. Но я почитаю своим долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею радеть о... о пользах вверенного мне... вверенного мне семейства.

«Что все это значит?» думала Анна Васильевна. (Она не могла знать, что накануне, в английском клубе, в углу диванной, поднялось прение о неспособности русских произносить *спичи*³. «Кто у нас умеет говорить? Назовите кого-нибудь!» воскликнул один из споривших. «Да хоть бы Стахов, например», отвечал другой и указал на Николая Артемьевича, который тут же стоял и чуть не пискнул от удовольствия.)

¹ Имморальный (франц.) — безнравственный (то же, что аморальный).

² *C'est possible* (франц.) — возможно.

³ Спич (англ.) — в данном случае: публично произнесенная речь.

— Например, — продолжал Николай Артемьевич: — дочь моя, Елена. Не находите ли вы, что пора ей наконец ступить твердою стопою на стезю... выйти замуж, я хочу сказать. Все эти умствования и филантропии хороши, но до известной степени, до известных лет. Пора ей покинуть свои туманы, выйти из общества разных артистов, школяров и каких-то черногорцев и сделаться, как все.

— Как я должна понять ваши слова? — спросила Анна Васильевна.

— А вот, извольте выслушать, — отвечал Николай Артемьевич все с тем же опусканьем губ. — Скажу вам прямо, без обиняков: я познакомился, я сблизился с этим молодым человеком, г-м Курпатовским, в надежде иметь его своим зятем. Смею думать, что, увидевши его, вы не обвините меня в пристрастии или в опрометчивости суждений. (Николай Артемьевич говорил и сам любовался своим красноречьем.) Образования отличного, он правовед, манеры прекрасные, тридцать три года, обер-секретарь, коллежский советник, и Станислав на шее. Вы, надеюсь, отдадите мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех *pères de comédie*¹, которые бредят одними чинами; но вы сами мне говорили, что Елене Николаевне нравятся дельные, положительные люди: Егор Андреевич первый по своей части делец; теперь, с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным поступкам: так знайте же, что Егор Андреевич, как только достиг возможности, вы понимаете меня, возможности безбедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу своих братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец.

— А кто его отец? — спросила Анна Васильевна.

— Отец его? Отец его тоже известный в своем роде человек, нравственности самой высокой, un *vrais stoïcien*², отставной, кажется, майор, всеми именами графов Б... управляет.

— А! — промолвила Анна Васильевна.

¹ *Pères de comédie* (франц.) — комедийных отцов.

² *Un vrais stoïcien* (франц.) — настоящий стоик, то-есть человек, твердый в жизненных испытаниях, способный удержаться от соблазна.

— А! что: а? — подхватил Николай Артемьич. — Ужели и вы заражены предрассудками?

— Да я ничего не сказала... — начала было Анна Васильевна.

— Нет, вы сказали: а!.. Как бы то ни было, я счел нужным вас предупредить о моем образе мыслей и смею думать... смею надеяться, что г-н Курнатовский будет принят à bras ouverts¹. Это не какой-нибудь черногорец.

— Разумеется; надо будет только Ваньку-повара позвать — блюдо приказать прибавить.

— Вы понимаете, что я в это не вхожу, — проговорил Николай Артемьич, встал, надел шляпу и, посвистывая (он от кого-то слышал, что посвистывать можно только у себя на даче и в манеже), отправился гулять в сад. Шубин поглядел на него из окошка своего флигеля и молча высунул ему язык.

В четыре часа без десяти минут к крыльцу Стаховской дачи подъехала ямская карета — и человек еще молодой, благообразной наружности, просто и изящно одетый, вышел из нее и велел доложить о себе. Это был Егор Андреевич Курнатовский.

Вот что, между прочим, писала на следующий день Инсарову Елена:

«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вчера у нас обедал; папенька познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курнатовский. Он служит обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильные, он коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быстрые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то: точно она у него дежурит. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело делает.

¹ À bras ouverts (франц.) — с распростертыми объятьями.

«Как она его изучила!» думаешь ты, может быть, в эту минуту... Да; для того, чтобы описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В нем есть что-то железное — и тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он, точно, очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня; против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях: говорят, он в них толк знает и чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом Шубин заговорил о театре; г-н Курнатовский объявил и — я должна сознаться — без ложной скромности, что он в искусстве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала: нет, *мы* с Дмитрием все-таки иначе не понимаем искусства. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и к *сomme il faut*¹ он, впрочем, довольно равнодушен: он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие! Я подумала: если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось, а этот пускай себе говорит! пусть хвастается! Со мной он был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то *есть правила* — это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то-есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках...

— Я понимаю, — сказал он, — что во многих случаях берущий взятку не виноват; он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула:

— Раздавить невиноватого!

— Да, ради принципа.

— Какого? — спросил Шубин.

Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал:

¹ *Somme il faut* (франц.) — в данном случае: высший свет.

— Этого нечего объяснять.

Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего — и, к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенев и вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и т. д., а между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот смотрит на все это, как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал: «Вот этот и некто другой (он твоего имени произнести не может) — оба практические люди, а посмотрите, какая разница: там настоящий, живой, жизнью дышащий идеал, а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность его слова; а по-моему, Шубин умен, и я для тебя запомнила его слова; а по-моему, что же общего между вами? Ты *веришь*, а тот нет, потому что только в самого себя *верить* нельзя».

Он уехал поздно, но мамаша успела мне сообщить, что я ему понравилась, что папенька в восторге... Уж не сказал ли он обо мне, что и у меня есть правила? А я чуть было не ответила мамаше, что мне очень жалко, но что у меня уже есть муж. Отчего тебя папенька так не любит? С мамашей еще можно было бы как-нибудь...

О, мой милый! Я тебе так подробно описала этого господина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу без тебя, я беспрестанно тебя вижу, слышу... Я жду тебя, только не у нас, как ты было хотел, — представь, как нам будет тяжело и неловко! — а знаешь, где я тебе писала — в той роще... О, мой милый! Как я тебя люблю!»

XXIII

Недели три после первого посещения Курнатовского Анна Васильевна, к великой радости Елены, переселилась в Москву, в свой большой деревянный дом, возле Пречистенки, дом с колоннами, белыми лирами и венками над каждым окном, с мезонином, службами, палисадником, огромным зеленым двором, колодцем на дворе и собачьей конуркой возле колодца. Анна Васильевна ни-

когда так рано не съезжала с дачи; но в тот год у ней от первых осенних холодов *разыгрались* флюсы; Николай Артемьич, с своей стороны, окончивши курс лечения, соскучился по жене; притом же Августина Христиановна уехала погостить к своей кузине в Ревель; в Москву прибыло какое-то иностранное семейство, показывавшее *пластические позы*, *des poses plastiques*, описание которых в *Московских Ведомостях*¹ сильно возбудило любопытство Анны Васильевны. Словом, дальнейшее пребывание на даче оказалось неудобным и даже, по словам Николая Артемьича, несовместным с исполнением его «предначертаний». Последние две недели показались очень длинными Елене. Курнатовский приезжал два раза, по воскресеньям; в другие дни он был занят. Он приезжал собственно для Елены, но разговаривал больше с Зоей, которой он очень понравился. «Das ist ein Mann!»² думала она про себя, глядя на его смуглое и мужественное лицо, слушая его самоуверенные, снисходительные речи. По ее мнению, ни у кого не было такого чудного голоса, никто не умел так отлично произнести: «я имел чес-с-ть», или «я весьма доволен». Инсаров не был у Стаховых, но Елена видела его раз украдкой в небольшой рощице над Москвой-рекой, где она назначила ему свидание. Они едва успели сказать несколько слов друг другу. Шубин возвратился в Москву вместе с Анной Васильевной; Берсенева несколькими днями позже.

Инсаров сидел у себя в комнате и в третий раз перечитывал письма, доставленные ему из Болгарии с «оказией»; по почте их боялись посылать. Он был очень встревожен ими. События быстро развивались на Востоке; занятие княжеств русскими войсками волновало все умы; гроза росла, слышалось уже веяние близкой, неминуемой войны. Кругом занимался пожар, и никто не мог предвидеть, куда он пойдет, где остановится; старые обиды, давние надежды — все зашевелилось. Сердце Инсарова сильно билось: и его надежды сбывались. «Но

¹ «Московские ведомости» — газета, выходившая в Москве с 1756 года.

² Das ist ein Mann! (нем.) — Это настоящий мужчина!

не рано ли? не напрасно ли? — думал он, стискивая руки. — Мы еще не готовы. Но так и быть! Надо будет ехать».

Что-то слегка зашумело за дверью, она быстро распахнулась — и в комнату вошла Елена.

Инсаров затрепетал весь, бросился к ней, упал перед нею на колени, обнял ее стан и крепко прижался к нему головой.

— Ты меня не ждал? — заговорила она, едва переводя дух. (Она быстро взбежала по лестнице.) — Милый! Милый! — Она положила ему обе руки на голову и оглянулась. — Так вот где ты живешь? Я тебя скоро нашла. Дочь твоего хозяина меня проводила. Мы третьего дня переехали... Я хотела тебе написать, но подумала, лучше я сама пойду. Я к тебе на четверть часа. Встань, запри дверь.

Он поднялся, проворно запер дверь, воротился к ней и взял ее за руки. Он не мог говорить: радость его душила. Она с улыбкой глядела ему в глаза... в них было столько счастья... Она застыдилась.

— Постой, — сказала она, ласково отнимая у него руки: — дай мне шляпу снять.

Она развязала ленты шляпы, сбросила ее, спустила с плеч мантилью, поправила волосы и села на маленький, старенький диванчик. Инсаров не шевелился и глядел на нее, как очарованный.

— Сядь же, — проговорила она, не поднимая на него глаз и указывая ему место возле себя.

Инсаров сел, но не на диван, а на пол у ее ног.

— На,ними с меня перчатки, — промолвила она неровным голосом. Ей становилось страшно.

Он принялся сперва расстегивать, потом стаскивать одну перчатку, стащил ее до половины и жадно прильнул губами к забелевшей под нею тонкой и нежной кисти.

Елена вздрогнула и хотела отклонить его другой рукою, он начал целовать другую руку. Елена потянула ее к себе, он откинул голову, она посмотрела ему в лицо, нагнулась — и губы их слились...

Прошло мгновенье... Она вырвалась, встала, шепнула: «Нет, нет», и быстро подошла к письменному столу.

— Ведь я здесь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны, — проговорила она, стараясь казаться беспечной и становясь к нему спиной. — Сколько бумаг! Это что за письма?

Инсаров наморщил брови.

— Эти письма? — промолвил он, вставая с полу. — Ты можешь их прочесть.

Елена повертела их в руке.

— Их так много и они так мелко написаны, а я сейчас должна уйти... Бог с ними! Не от соперницы?.. Да они и не по-русски, — прибавила она, перебирая тонкие листы.

Инсаров приблизился к ней и коснулся ее стана. Она вдруг обернулась к нему, светло ему улыбнулась и оперлась на его плечо.

— Эти письма из Болгарии, Елена; друзья мне пишут, они меня зовут.

— Теперь? Туда?

— Да... теперь. Пока еще время, пока проехать можно.

Она вдруг бросила ему обе руки вокруг шеи.

— Ведь ты меня возьмешь с собой?

Он прижал ее к сердцу.

— О, моя милая девушка, о, моя героиня, как ты произнесла это слово! Но не грешно ли, не безумно ли мне, мне, бездомному, одинокому, увлекать тебя с собою... И куда же?..

Она зажала ему рот.

— Тсс... или я рассержусь — и никогда больше не приду к тебе. Разве не все решено, не все кончено между нами? Разве я не твоя жена? Разве жена расстается с мужем?

— Жены не идут на войну, — промолвил он с полупечальной улыбкой.

— Да; когда они могут остаться. А разве я могу остаться здесь?

— Елена, ты ангел!.. Но подумай, мне, может быть, придется выехать из Москвы... через две недели. Мне уже нельзя помышлять ни об университетских лекциях, ни об окончании работ.

— Что же такое? — перебила Елена. — Ты должен скоро ехать? Да хочешь ли, я теперь же, сейчас, сию ми-

ду, останусь у тебя, с тобой навсегда, и домой не вернусь? хочешь? Поедем сейчас, хочешь?

Инсаров с удвоенною силой заключил ее в свои объятия.

— Так пусть же бог накажет меня, — воскликнул он, — если я делаю дурное дело! С нынешнего дня мы соединены навек!

— Я остаюсь? — спросила Елена.

— Нет, моя чистая девушка; нет, мое сокровище. Ты сегодня вернешься домой, но будь готова. Это дело нельзя разом сделать; надо хорошенько все обдумать. Тут нужны деньги, паспорт...

— Деньги у меня есть, — перебила Елена: — восемьдесят рублей.

— Ну, это не много, — заметил Инсаров: — а все годится.

— Да я могу достать, я займу, я попрошу у мамыши... Нет, я у ней просить не буду... Да можно часы продать... У меня серьги есть, два браслета... кружево.

— Не в деньгах дело, Елена; паспорт, твой паспорт, как с этим быть?

— Да... как с этим быть? А непременно нужен паспорт?

— Непременно.

Елена усмехнулась.

— Что мне в голову пришло! Помнится, я была еще маленькая... У нас ушла горничная. Ее поймали, простили, и она долго жила у нас... а все-таки все ее величали: Татьяна беглая. Не думала я тогда, что и я, может быть, буду беглая, как она.

— Елена, как тебе не стыдно!

— А что? Конечно, лучше поехать с паспортом. Но если нельзя...

— Это мы все уладим после, после, погоди, — промолвил Инсаров. — Дай мне только осмотреться, дай подумать. Мы обо всем переговорим с тобой как следует. А деньги есть и у меня.

Елена отвела рукой волосы, падавшие на его лоб.

— О, Дмитрий! Как нам весело будет ехать вдвоем!

— Да, — сказал Инсаров, — а там, куда мы приедем...

— Что ж? — перебила Елена. — Разве умирать дво-

ем тоже не весело? Да нет, зачем умирать? Мы будем жить, мы молоды. Сколько тебе лет? Двадцать шесть?

— Двадцать шесть.

— А мне двадцать... Еще много времени впереди. А! ты хотел убежать от меня? Тебе не нужно было русской любви, болгар! Посмотрим теперь, как ты от меня отделаешься! Но что бы было с нами, если б я тогда не пошла к тебе!

— Елена, ты знаешь, что заставляло меня удалиться.

— Знаю: ты полюбил и испугался. Но неужели ты не подозревал, что и тебя любили?

— Честью клянусь, Елена, нет.

Она быстро и неожиданно его поцеловала.

— Вот за это-то я тебя и люблю. А теперь прощай!

— Ты не можешь больше остаться? — спросил Инсаров.

— Нет, мой милый. Ты думаешь, мне легко было уйти одной? Четверть часа давно минуло. — Она надела мантилью и шляпу. — А ты приходи к нам завтра вечером. Нет, послезавтра. Будет натянута, скучно, да делать нечего: по крайней мере увидимся. Прощай. Выпусти меня. — Он обнял ее в последний раз. — Ай! смотри, ты мою цепочку сломал. О, мой неловкий! Ну, ничего. Тем лучше. Я пройду на Кузнецкий Мост, отдам ее в починку. Если меня спросят, я скажу, что была на Кузнецком Мосту. — Она взялась за ручку двери. — Кстати, я тебе и забыла сказать: мусьё Курнатовский, вероятно, на-днях сделает мне предложение. Но я сделаю ему... вот что. — Она приставила большой палец левой руки к кончику носа и поиграла остальными пальцами на воздухе. — Прощай. До свидания. Теперь я дорогу знаю... А ты не теряй времени...

Елена открыла немножко дверь, прислушалась, обернулась к Инсарову, кивнула головой и выскользнула из комнаты.

С минуту стоял Инсаров перед затворившейся дверью и тоже прислушивался. Дверь внизу на двор стукнула. Он подошел к дивану, сел и закрыл глаза рукой. С ним еще никогда ничего подобного не случалось. «Чем заслужил я такую любовь? — думал он. — Не сон ли это?»

Но тонкий запах резеды, оставленный Еленой в его бедной, темной комнатке, напоминал ее посещение. Вместе с ним, казалось, еще оставались в воздухе и звуки молодого голоса, и шум легких, молодых шагов, и теплота, и свежесть молодого девственного тела.

XXIV

Инсаров решил подождать еще более положительных известий, а сам начал готовиться к отъезду. Дело было очень трудное. Собственно, для него не предстояло никаких препятствий: стоило вытребовать паспорт, — но как быть с Еленой? Достать ей паспорт законным путем было невозможно. Обвенчаться с нею тайно, а потом явиться к родителям... «Они тогда отпустят нас, — думал он. — А если нет? Мы все-таки уедем. А если они будут жаловаться... если... Нет, лучше постараться достать как-нибудь паспорт».

Он решил посоветоваться (разумеется, никого не называя) с одним своим знакомым, отставным или отставленным прокурором, опытным и старым докой¹ по части всяких секретных дел. Почтенный этот человек жил не близко: Инсаров тащился к нему целый час на скверном ваньке, да еще вдобавок не застал его дома; а на возвратном пути промок до костей благодаря внезапно набежавшему ливню. На следующее утро Инсаров, несмотря на довольно сильную головную боль, вторично отправился к отставному прокурору. Отставной прокурор выслушал его внимательно, понюхивая табачок из табакерки, украшенной изображением полногрудой нимфы, и искоса посматривая на гостя своими лукавыми, тоже табачного цвета, глазками; выслушал и потребовал «большой определенности в изложении фактических данных»; а заметив, что Инсаров неохотно вдавался в подробности (он и приехал к нему скрепя сердце), ограничился советом вооружиться прежде всего «пенёнзами» и попросил побывать в другой раз, «когда у вас, — прибавил он, нюхая табак над раскрытою табакеркой, — прибудет доверчивости и убудет недоверчи-

¹ Дока — знаток, мастер своего дела, ловкач.

ности» (он говорил на *б*). «А пачпорт, — продолжал он, как бы про себя, — дело рук человеческих; вы, например, едете: кто вас знает, Марья ли вы Бредихина или же Каролина Фогельмейер?» Чувство гадливости шевельнулось в Инсарове, но он поблагодарил прокурора и обещался завернуть на-днях.

В тот же вечер он поехал к Стаховым. Анна Васильевна встретила его ласково, попеняла ему, что он совсем их забыл, и, найдя его бледным, осведомилась об его здоровье; Николай Артемьич ни слова ему не сказал, только поглядел на него с задумчиво-небрежным любопытством; Шубин обошелся с ним холодно; но Елена удивила его. Она его ждала; она для него надела то самое платье, которое было на ней в день их первого свидания в часовне; но она так спокойно его приветствовала и так была любезна и беспечно-весела, что, глядя на нее, никто бы не подумал, что судьба этой девушки уже решена и что одно тайное сознание счастливой любви придавало оживление ее чертам, легкость и прелесть всем ее движениям. Она разливала чай вместо Зои, шутила, болтала; она знала, что за ней будет наблюдать Шубин, что Инсаров не сумеет надеть маску — не сумеет прикинуться равнодушным, — и вооружилась заранее. Она не ошиблась: Шубин не спускал с нее глаз, а Инсаров был очень молчалив и пасмурен в течение всего вечера. Елена чувствовала себя до того счастливой, что ей захотелось подразнить его.

— Ну что? — спросила она его вдруг. — План ваш подвигается?

Инсаров смутился.

— Какой план? — проговорил он.

— А вы забыли? — ответила она, смеясь ему в лицо: он один мог понять значение этого счастливого смеха. — Ваша болгарская хрестоматия для русских?

— *Quelle boude!* — пробормотал сквозь зубы Николай Артемьич.

Зоя села за фортепьяно. Елена едва заметно пожала плечом и показала Инсарову глазами на дверь, как бы отпуская его домой. Потом она с расстановкой два раза коснулась пальцем стола и посмотрела на него. Он понял, что она ему назначала свидание через два дня, и она быстро улыбнулась, когда увидела, что он ее понял.

Инсаров встал и начал прощаться: он чувствовал себя нездоровым. Явился Курнатовский. Николай Артемыч вскочил, поднял правую руку выше головы и мягко опустил ее на ладонь обер-секретаря. Инсаров остался еще несколько минут, чтобы посмотреть на своего соперника. Елена украдкой лукаво покачала головой, хозяин не считал нужным их представить друг другу, и Инсаров ушел, в последний раз обменявшись взглядом с Еленой. Шубин подумал, подумал — и яростно заспорил с Курнатовским о юридическом вопросе, в котором ничего не смыслил.

Инсаров не спал всю ночь и утром чувствовал себя дурно; однако он занялся приведением в порядок своих бумаг и писанием писем; но голова у него была тяжела и как-то запутана. К обеду у него сделался жар; он ничего есть не мог. Жар быстро усилился к вечеру; появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль. Инсаров лег на тот самый диванчик, где так недавно сидела Елена; он подумал: «Поделом я наказан, зачем таскался к этому старому плуту», и попытался заснуть... Но уж недуг завладел им. С страшной силой забились в нем жилы, знобно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытие. Как раздавленный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось: кто-то над ним тихо хохочет и шепчет; он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечки дернул по нему, как пожом... Что это? старый прокурор перед ним, в халате из тармаламы¹, подпоясанный фуляром², как он видел его накануне... «Каролина Фогельмейер», борочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет, уж он не человек — он дерево... Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках, в виде торговки, и лепечет: «Пирожки, пирожки», — а там течет кровь и сабли блестят нестерпимо... Елена! и все исчезло в багровом хаосе.

¹ Тармалама — плотная шелковая или полупшелковая ткань; предназначалась для шитья халатов.

² Фуляр — здесь: платок из фуляра, легкой, очень мягкой шелковой ткани.

— К вам пришел какой-то, кто его знает, слесарь, что ль, какой, — говорил на следующий вечер Берсеневу его слуга, отличавшийся строгим обхождением с баринном и скептическим направлением ума: — хочет вас видеть.

— Позови, — промолвил Берсенев.

Вошел «слесарь». Берсенев узнал в нем портного, хозяина квартиры, где жил Инсаров.

— Что ты? — спросил он его.

— Я к вашей милости, — начал портной, медленно переставляя ноги и по временам взмахивая правой рукой с захваченным тремя последними пальцами обшлагом. — Наш жилец, кто его знает, очень болен.

— Инсаров?

— Точно так, наш жилец. Кто его знает, вчера еще с утра был на ногах, вечером только пить попросил, наша хозяйка ему и воду носила, а ночью залопотал, нам-то слышно, потому перегородка; а сегодня утром уж и без языка, лежит, как пласт, а жар от него, боже ты мой! Я подумал, кто его знает, умрет, того и гляди; в квартал, думаю, надо дать знать. Потому как он один; да хозяйка мне говорит: «Сходи, мол, ты к тому жильцу, у кого наш-то на даче нанимался: может, он тебе что скажет аль сам придет». Вот я к вашей милости и пришел, потому как нам нельзя, то-есть...

Берсенев схватил фуражку, сунул портному в руку целковый и тотчас поскакал с ним на квартиру Инсарова.

Он нашел его лежащего на диване в беспамятстве, нераздетого. Лицо его страшно изменилось. Берсенев тотчас приказал хозяину с хозяйкой раздеть его и перенести на постель, а сам бросился к доктору и привез его. Доктор прописал разом пиявки, мушки, каломель¹ и велел пустить кровь.

— Он опасен? — спросил Берсенев.

— Да, очень, — отвечал доктор. — Сильнейшее вос-

¹ Мушки и каломель — сильно действующие лечебные средства, которые часто использовались в медицине того времени.

паление в легких; перипневмония в полном развитии, может быть и мозг поражен, а субъект молодой. Его же силы теперь против него направлены. Поздно послали, а впрочем, мы все сделаем, что требует наука.

Доктор был еще сам молод и верил в науку.

Берсенов остался на ночь. Хозяин и хозяйка оказались добрыми и даже расторопными людьми, как только нашелся человек, который стал им говорить, что надо было делать. Явился фельдшер, и начались медицинские испытания.

К утру Инсаров очнулся на несколько минут, узнал Берсенева, спросил: «Я, кажется, нездоров?», посмотрел вокруг себя с тупым и вялым недоумением труднობольного и опять забылся. Берсенов поехал домой, переоделись, захватил с собой кое-какие книги и вернулся на квартиру Инсарова. Он решился поселиться у него, по крайней мере на первое время. Он огородил его кровать ширмами, а себе устроил местечко около диванчика. Не весело и не скоро прошел день. Берсенов отлучился только для того, чтобы пообедать. Настал вечер. Он зажег свечку с абажуром и принялся за чтение. Все было тихо кругом. У хозяев за перегородкой слышался то сдержанный шопот, то зевок, то вздох... Кто-то у них чихнул, и его шопотом побранили; за ширмами раздавалось тяжелое и неровное дыхание, изредка прерываемое коротким стоном да тоскливым метанием головы по подушке... Странные нашли на Берсенева думы. Он находился в комнате человека, жизнь которого висела на нитке, человека, которого, он это знал, любила Елена... Вспомнилась ему та ночь, когда Шубин нагнал его и объявил ему, что она его любит, его, Берсенева! А теперь... «Что мне теперь делать? — спрашивал он самого себя. — Известить ли Елену об его болезни? Подождать ли? Это известие печальнее того, которое я же ей сообщил когда-то: странно, как судьба меня все ставит третьим лицом между ними!» Он решил, что лучше подождать. Взоры его упали на стол, покрытый грудой бумаг... «Исполнит ли он свои замыслы? — подумал Берсенов. — Неужели все исчезнет?» И жалко ему стало молодой погибающей жизни, и он давал себе слово ее спасти...

Ночь была нехороша. Больной много бредил. Не-

сколько раз вставал Берсенов с своего диванчика, приближался на цыпочках к постели и печально прислушивался к его несвязному лепетанию. Раз только Инсаров произнес с внезапной ясностью: «Я не хочу, я не хочу, ты не должна...» Берсенов вздрогнул и посмотрел на Инсарова: лицо его, страдальческое и мертвенное в то же время, было неподвижно, и руки лежали бессильно. «Я не хочу», повторил он едва слышно.

Доктор приехал поутру, покачал головою и прописал новые лекарства.

— Еще далеко до кризиса, — сказал он, надевая шляпу.

— А после кризиса? — спросил Берсенов.

— После кризиса? Исход бывает двойкий: *aut Caesar, aut nihil*¹.

Доктор уехал. Берсенов прошелся несколько раз по улице: ему нужен был чистый воздух. Он вернулся взялся за книгу. Раумера уж он давно кончил: он теперь изучал Грота².

Вдруг дверь тихо скрипнула, и осторожно вдвинулась в комнату головка хозяйской дочери, покрытая, по обыкновению, тяжелым платком.

— Здесь, — заговорила она вполголоса, — та барышня, что тогда мне гривенничек...

Головка хозяйской дочери внезапно скрылась, и на место ее появилась Елена.

Берсенов вскочил, как ужаленный; но Елена не шевельнулась, не вскрикнула... Казалось, она все поняла в одно мгновение. Страшная бледность покрыла ее лицо, она подошла к ширмам, заглянула за них, всплеснула руками и окаменела. Еще мгновение, и она бы бросилась к Инсарову, но Берсенов остановил ее.

— Что вы делаете? — проговорил он трепещущим шопотом. — Вы его погубить можете!

Она зашаталась. Он подвел ее к диванчику и посадил ее.

¹ *Aut Caesar, aut nihil* (лат.) — или Цезарь, или ничто: девиз одного из государственных деятелей Италии — Цезаря Борджиа (1476—1507), — ставший ходячим выражением.

² Грот Джордж — английский историк, автор двенадцатитомной «Истории Греции», опубликованной в 40—50-х годах XIX века.

Она посмотрела ему в лицо, потом окинула его взглядом, потом уставилась на пол.

— Он умирает? — спросила она так холодно и спокойно, что Берсенев испугался.

— Ради бога, Елена Николаевна, — начал он, — что вы это? Он болен, точно, — и довольно опасно... Но мы это спасем; за это я вам ручаюсь.

— Он без памяти? — спросила она так же, как в первый раз.

— Да, он теперь в забытьи... Это всегда бывает в начале этих болезней, но это ничего не значит, ничего, уверяю вас. Выпейте воды.

Она подняла на него глаза — и он понял, что она не слышала его ответов.

— Если он умрет, — проговорила она все тем же голосом, — и я умру.

Нисаров в это мгновение простонал слегка — она затрепетала, схватила себя за голову, потом стала развязывать ленты шляпы.

— Что это вы делаете? — спросил ее Берсенев.

Она не отвечала.

— Что вы делаете? — повторил он.

— Я остаюсь здесь.

— Как... надолго?

— Не знаю, может быть на весь день, на ночь, навсегда... не знаю.

— Ради бога, Елена Николаевна, придите в себя! Я, конечно, никак не мог ожидать вас здесь увидеть; но я все-таки... предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. Помните, вас могут хватиться дома...

— И что же?

— Вас будут искать... Вас найдут...

— И что же?

— Елена Николаевна! Вы видите... Он вас теперь защитить не может.

Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платок к губам, и судорожные рыдания с потрясающей силой внезапно исторглись из ее груди... Она бросилась лицом на диван, старалась заглушить их, но все ее тело поднималось и билось, как только что пойманная птичка.

— Елена Николаевна... ради бога... — твердил над ней Берсенеv.

— А! Что такое? — раздался вдруг голос Инсарова.

Елена выпрямилась, а Берсенеv так и замер на месте... Погодя немного, он подошел к постели... Голова Инсарова попрежнему бессильно лежала на подушке, глаза были закрыты.

— Он бредит? — прошептала Елена.

— Кажется, — отвечал Берсенеv, — но это ничего; это тоже всегда так бывает, особенно если...

— Когда он занемог? — перебила Елена.

— Третьего дня; со вчерашнего дня я здесь. Положитесь на меня, Елена Николаевна. Я не отойду от него — все средства будут употреблены. Если нужно, мы созовем консилиум.

— Он умрет без меня! — воскликнула она, ломая руки.

— Я вам даю слово извещать вас ежедневно о ходе его болезни, и если бы наступила действительная опасность...

— Клянитесь мне, что вы тотчас пошлете за мною — когда бы то ни было, днем, ночью; пишите записку прямо ко мне... Мне все равно теперь. Слышите ли вы? Обещаетесь ли вы это сделать?

— Обещаюсь, перед богом.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Она вдруг схватила его руку и, прежде чем он успел ее отдернуть, припала к ней губами.

— Елена Николаевна... что вы это, — пролепетал он.

— Нет... нет... не надо... — произнес невнятно Инсаров и тяжело вздохнул.

Елена подошла к ширмам, стиснула платок зубами и долго-долго глядела на больного. Безмолвные слезы потекли по ее щекам.

— Елена Николаевна, — сказал ей Берсенеv, — он может притти в себя, узнать вас; бог знает, хорошо ли это будет. Притом же я с часу на час жду доктора...

Елена взяла шляпу с диванчика, надела ее и остановилась. Глаза ее печально блуждали по комнате. Казалось, она вспоминала...

— Я не могу уйти, — прошептала она наконец.

Берсенеv пожал ей руку.

— Соберитесь с силами, — промолвил он, — успокойтесь; вы оставляете его на моем попечении. Я сегодня же вечером заеду к вам.

Елена взглянула на него, проговорила:

— О, мой добрый друг! — зарыдала и бросилась вон.

Берсенеv прислонился к двери. Чувство горестное и горькое, не лишенное какой-то странной отрады, сдавило ему сердце. «Мой добрый друг!» подумал он и повел плечом.

— Кто здесь? — послышался голос Инсарова.

Берсенеv подошел к нему.

— Я здесь, Дмитрий Никанорыч. Что вам? Как вы себя чувствуете?

— Один? — спросил больной.

— Один.

— А она?

— Кто она? — проговорил почти с испугом Берсенеv.

Инсаров помолчал.

— Резеда, — шепнул он, и глаза его опять закрылись.

XXVI

Инсаров целых восемь дней находился между жизнью и смертью. Доктор приезжал беспрестанно, интересуясь, опять-таки как молодой человек, трудным больным. Шубин слышал об опасном положении Инсарова и навестил его; явились его соотечественники — болгары; в числе их Берсенеv узнал две странные фигуры, возбудившие его изумление своим неожиданным посещением на даче; все изъявляли искреннее участие, некоторые предлагали Берсенеvu сменить его у постели больного; но он не соглашался, помня обещание, данное Елене. Он каждый день ее видел и украдкой передавал ей — иногда на словах, иногда в маленькой записочке — все подробности хода болезни. С каким сердечным замيرانьем она его ожидала, как она его выслушивала и расспрашивала! Она сама все порывалась к Инсарову; но Берсенеv умолял ее этого не делать: Инсаров редко бывал один. В первый день, когда она узнала об его болезни, она сама чуть не занемогла; она, как только

вернулась, заперлась у себя в комнате; но ее позвали к обеду, и она явилась в столовую с таким лицом, что Анна Васильевна испугалась и хотела непременно уложить ее в постель. Елене, однако, удалось переломить себя. «Если он умрет, — твердила она, — и меня не станет». Эта мысль ее успокоила и дала ей силу казаться равнодушной. Впрочем, никто ее слишком не тревожил: Анна Васильевна возилась с своими флюсами; Шубин работал с остервенением; Зоя предавалась меланхолии и собиралась прочесть *Вертера*¹; Николай Артемьич очень был недоволен частыми посещениями «школяра», тем более что его «предназначения» насчет Курнатовского подвигались туго: практический обер-секретарь недоумевал и выжидал. Елена даже не благодарила Берсенева: есть услуги, за которые жутко и стыдно благодарить. Только однажды, в четвертое свое свидание с ним (Иисаров очень плохо провел ночь, доктор намекнул на консилиум), только в это свидание она напомнила ему об его клятве. «Ну, в таком случае, пойдемте», сказал он ей. Она встала и пошла было одеваться. «Нет, — промолвил он, — подождемте еще до завтра». К вечеру Иисарову полегчало.

Восемь дней продолжалась эта пытка. Елена казалась покойной, но ничего не могла есть, не спала по ночам. Тупая боль стояла во всех ее членах; какой-то сухой, горячий дым, казалось, наполнял ее голову. «Наша барышня, как свечка, тает», говорила о ней ее горничная..

Наконец, на девятый день, перелом совершился. Елена сидела в гостиной подле Анны Васильевны и, сама не понимая, что делала, читала ей *Московские Ведомости*; Берсенев вошел. Елена взглянула на него (как быстр, и робок, и пронизателен, и тревожен был первый взгляд, который она на него всякий раз бросала!) и тотчас же догадалась, что он принес добрую весть. Он улыбался; он слегка кивал ей. Она приподнялась ему навстречу.

— Он пришел в себя, он спасен, он через неделю будет совсем здоров, — шепнул он ей.

Елена протянула руки, как будто отклоняя удар, и

¹ «Страдания молодого Вертера» — роман Гете (1774).

никого не сказала, только губы ее задрожали и алая краска разлилась по всему лицу. Берсенева заговорил с Анной Васильевной, а Елена ушла к себе, упала на колени и стала молиться, благодарить бога... Легкие, светлые слезы полились у ней из глаз... Она вдруг почувствовала крайнюю усталость, положила голову на подушку, шепнула: «Бедный Андрей Петрович!» и тут же заснула, с мокрыми ресницами и щеками. Она давно уже не спала и не плакала.

XXVII

Слова Берсенева сбылись только отчасти: опасность миновалась, но силы Инсарова восстанавливались медленно, и доктор поговаривал о глубоком и общем потрясении всего организма. Со всем тем больной оставил постель и начал ходить по комнате; Берсенева переехал к себе на квартиру; но он каждый день заходил к своему, все еще слабому, приятелю и каждый день попрежнему уведомлял Елену о состоянии его здоровья. Инсаров не смел писать к ней и только косвенно, в разговорах с Берсеневым, намекал на нее; а Берсенева, с притворным равнодушием, рассказывал ему о своих посещениях у Стаховых, стараясь, однако, дать ему понять, что Елена была очень огорчена и что теперь она успокоилась. Елена тоже не писала Инсарову; у ней иное было в голове.

Однажды Берсенева только что сообщил ей с веселым лицом, что доктор уже разрешил Инсарову съесть котлетку и что он, вероятно, скоро выйдет, — она задумалась, потупилась...

— Угадайте, что я хочу сказать вам, — промолвила она.

Берсенева смутился. Он ее понял.

— Вероятно, — ответил он, глянув в сторону, — вы хотите мне сказать, что вы желаете его видеть.

Елена покраснела и едва слышно произнесла:

— Да.

— Так что ж. Это вам, я думаю, очень легко. «Фи! — подумал он, — какое у меня гадкое чувство на сердце!»

— Вы хотите сказать, что я уже прежде... — проговорила Елена. — Но я боюсь... теперь он, вы говорите, редко бывает один.

— Этому нетрудно помочь, — возразил Берсенеv, все не глядя на нее. — Предупредить я его, разумеется, не могу; по дайте мне записку. Кто вам может запретить написать ему, как хорошему знакомому, в котором вы принимаете участие... Тут ничего нет предосудительного... Назначьте ему... то-есть напишите ему, когда вы будете...

— Мне совестно, — шепнула Елена.

— Дайте записку, я отнесу.

— Это не нужно, а я хотела вас попросить... не сердитесь на меня, Андрей Петрович... не приходите завтра к нему.

Берсенеv закусил губу.

— А! Да, понимаю, очень хорошо, очень хорошо. — И, прибавив два-три слова, он быстро удалился.

«Тем лучше, тем лучше, — думал он, спеша домой. — Я не узнал ничего нового, но тем лучше. Что за охота лепиться к краюшку чужого гнезда? Я ни в чем не раскаиваюсь, я сделал, что мне совесть велела, но теперь полно. Пусть их! Недаром мне говаривал отец: мы с тобой, брат, не сибариты¹, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики — мы труженики, труженики — и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!»

На другое утро Инсаров получил по городской почте коротенькую записочку. «Жди меня, — писала ему Елена, — и вели всем отказывать. А. П. не придет».

XXVIII

Инсаров прочел записку Елены и тотчас же стал приводить свою комнату в порядок, попросил хозяйку унести стклянки с лекарством, снял шлафрок², надев

¹ Сибарит — изнеженный человек, живущий в праздности и роскоши.

² Шлафрок — халат.

сюртук. От слабости и от радости у него голова кружилась и сердце билось. Ноги у него подкосились: он опустился на диван и стал глядеть на часы. «Теперь три четверти двенадцатого, — сказал он самому себе: — раньше двенадцати она никак притти не может; буду думать о чем-нибудь другом в течение четверти часа, а то я не вынесу. Раньше двенадцати она никак не может...»

Дверь распахнулась, и в легком шелковом платье, вся бледная и вся свежая, молодая, счастливая, вошла Елена и с слабым радостным криком упала к нему на грудь.

— Ты жив, ты мой, — твердила она, обнимая и лаская его голову. Он замер весь, он задышался от этой близости, от этих прикосновений, от этого счастья.

Она села возле него, и прижалась к нему, и стала глядеть на него тем смеющимся, и ласкающим, и нежным взглядом, который светится в одних только женских любящих глазах.

Ее лицо внезапно опечалилось.

— Как ты похудел, мой бедный Дмитрий, — сказала она, проводя рукой по его щеке, — какая у тебя борода!

— И ты похудела, моя бедная Елена, — отвечал он, лоя губами ее пальцы.

Она весело встряхнула кудрями.

— Это ничего. Посмотри, как мы поправимся! Гроза налетела, как в тот день, когда мы встретились в часовне, налетела и прошла. Теперь мы будем живы!

Он отвечал ей одною улыбкой.

— Ах, какие дни, Дмитрий, какие жестокие дни! Как это люди переживают тех, кого они любят! Я наперед всякий раз знала, что мне Андрей Петрович скажет, право: моя жизнь падала и поднималась вместе с твоей. Здравствуй, мой Дмитрий!

Он не знал, что сказать ей. Ему хотелось броситься к ее ногам.

— Еще что я заметила, — продолжала она, откидывая назад его волосы (я много делала замечаний все это время, на досуге): — когда человек очень, очень несчастлив, — с каким глупым вниманием он следит за всем, что около него происходит! Я, право, иногда заглядывалась на муху, а у самой на душе такой холод и

ужас. Но это все прошло, прошло, не правда ли? Все светло впереди, не правда ли?

— Ты для меня впереди, — ответил Инсаров: — для меня светло.

— А для меня-то! А помнишь ли ты, тогда, когда я у тебя была, не в последний раз... Нет! не в последний раз, — повторила она с невольным содроганием, — а когда мы говорили с тобой, я, сама не знаю отчего, упомянула о смерти; я и не подозревала тогда, что она нас караулила. Но ведь ты здоров теперь?

— Мне гораздо лучше, я почти здоров.

— Ты здоров, ты не умер. О, как я счастлива!

Настало небольшое молчание.

— Елена? — спросил ее Инсаров.

— Что, мой милый?

— Скажи мне, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь послана нам в наказание?

Елена серьезно взглянула на него.

— Эта мысль мне в голову приходила, Дмитрий. Но я подумала: за что же я буду наказана? Какой долг я преступила, против чего согрешила я? Может быть, совесть у меня не такая, как у других, но она молчала; или, может быть, я против тебя виновата? — Я тебе помешаю, я остановлю тебя...

— Ты меня не остановишь, Елена, мы пойдем вместе.

— Да, Дмитрий, мы пойдем вместе, я пойду за тобой... Это мой долг. Я тебя люблю... другого долга я не знаю.

— О, Елена! — промолвил Инсаров, — какие несокрушимые цепи кладет на меня каждое твое слово!

— Зачем говорить о цепях? — подхватила она. — Мы с тобой вольные люди. Да, — продолжала она, задумчиво глядя на пол, а одной рукой попрежнему разглаживая его волосы, — многое я испытала в последнее время, о чем и понятия не имела никогда! Если бы мне предсказал кто-нибудь, что я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна из дома под разными сочиненными предложениями, и куда же уходить! к молодому человеку на квартиру, — какое я почувствовала бы негодование! И все это сбылось, и я никакого не чувствую негодования. Ей-богу, — прибавила она и обернулась к Инсарову.

Он глядел на нее с таким выражением обожания, что она тихо опустила руку с его волос на его глаза.

— Дмитрий, — начала она снова, — ведь ты не знаешь, ведь я тебя видела там, на этой страшной постели... я видела тебя в когтях смерти, без памяти...

— Ты меня видела?

— Да.

Он помолчал.

— И Берсенев был здесь?

Она кивнула головой.

Инсаров наклонился к ней.

— О, Елена! — прошептал он, — я не смею глядеть на тебя.

— Отчего? Андрей Петрович такой добрый! Я его не стыдилась. И чего мне стыдиться? Я готова сказать всему свету, что я твоя... А Андрею Петровичу я доверяю, как брату.

— Он меня спас! — воскликнул Инсаров. — Он благороднейший, добрейший человек!

— Да... И знаешь ли ты, что я ему всем обязана? Знаешь ли ты, что он мне первый сказал, что ты меня любишь? И если б я могла все открыть... Да, он благороднейший человек.

Инсаров посмотрел пристально на Елену.

— Он влюблен в тебя, не правда ли?

Елена опустила глаза.

— Он меня любил, — проговорила она вполголоса.

Инсаров крепко стиснул ей руку.

— О, вы, русские, — сказал он: — золотые у вас сердца! И он, он ухаживал за мной, он не спал ночи... И ты, ты, мой ангел... Ни упрека, ни колебания... и это все мне, мне...

— Да, да, все тебе, потому что тебя любят. Ах, Дмитрий! Как это странно! Я, кажется, тебе уже говорила об этом, — но все равно, мне приятно это повторить, а тебе будет приятно это слушать, — когда я тебя увидела в первый раз...

— Отчего у тебя на глазах слезы? — перебил ее Инсаров.

— У меня? слезы? — Она утерла глаза платком. — О, глупый! Он еще не знает, что и от счастья плачет. Так я хотела сказать: когда я увидела тебя в первый

раз, я в тебе ничего особенного не нашла, право. Я помню, сначала Шубин мне гораздо более понравился, хотя я никогда его не любила, а что касается Андрея Петровича, — о! тут была минута, когда я подумала: уж не он ли? А ты — ничего; зато... потом... потом... так ты у меня сердце обеими руками и взял!

— Пощади меня... — проговорил Инсаров. Он хотел встать и тотчас же опустился на диван.

— Что с тобой? — заботливо спросила Елена.

— Ничего... я еще немного слаб... Мне это счастье еще не по силам.

— Так сиди смирно. Не извольте певелиться, не волнуйтесь, — прибавила она, грозя ему пальцем. — И зачем вы ваш шлафрок сняли? Рано еще вам шеголять! Сидите, а я вам буду сказки рассказывать. Слушайте и молчите. После вашей болезни вам много разговаривать вредно.

Она начала говорить ему о Шубине, о Курнатовском, о том, что она делала в течение двух последних недель, о том, что, судя по газетам, война неизбежна и что, следовательно, как только он выздоровеет совсем, надо будет, не теряя ни минуты, найти средства к отъезду... Она говорила все это, сидя с ним рядом, опираясь на его плечо...

Он слушал ее, слушал, то бледнея, то краснея... он несколько раз хотел остановить ее и вдруг выпрямился.

— Елена, — сказал он ей каким-то странным и резким голосом, — оставь меня, уйди.

— Как? — промолвила она с изумлением. — Ты душно себя чувствуешь? — прибавила она с живостью.

— Нет... мне хорошо... но, пожалуйста, оставь меня.

— Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь? Что это ты делаешь? — проговорила она вдруг: он склонился с дивана почти до полу и приник губами к ее ногам. — Не делай этого, Дмитрий... Дмитрий...

Он приподнялся.

— Так оставь меня! Вот видишь ли, Елена, когда я сделался болен, я не тотчас лишился сознания, я знал, что я на краю гибели; даже в жару, в бреде, я понимал, я смутно чувствовал, что это смерть ко мне идет, я прощался с жизнью, с тобой, со всем, я расставался с надеждой... И вдруг это возрождение, этот свет после

тьмы, ты... ты... возле меня, у меня... твой голос, твоё дыхание... Это свыше сил моих! Я чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моею, я ни за что не отвечаю... Уйди!

— Дмитрий... — прошептала Елена и спрятала к нему на плечо голову. Она только теперь его поняла.

— Елена, — продолжал он, — я тебя люблю, ты это знаешь, я жизнь свою готов отдать за тебя... зачем же ты пришла ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собою, когда вся кровь моя зажжена... ты моя, говоришь ты... ты меня любишь...

— Дмитрий, — повторила она, и вспыхнула вся, и еще теснее к нему прижалась.

— Елена, сжался надо мной — уйди, я чувствую, я могу умереть — я не выдержу этих порывов... вся душа моя стремится к тебе... подумай, смерть едва не разлучила нас... и теперь ты здесь, ты в моих объятиях... Елена...

Она затрепетала вся.

— Так возьми ж меня, — прошептала она чуть слышно...

XXIX

Николай Артемьич ходил, нахмурив брови, взад и вперед по своему кабинету. Шубин сидел у окна и, положив ногу на ногу, спокойно курил сигару.

— Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол, — промолвил он, отряхывая пепел с сигары. — Я все ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами — шея у меня заболела. Притом же в вашей походке есть что-то напряженное, мелодраматическое.

— Вам бы все только балагурить, — ответил Николай Артемьич. — Вы не хотите войти в мое положение; вы не хотите понять, что я привык к этой женщине, что я привязан к ней, наконец; что отсутствие ее меня должно мучить. Вот уж октябрь на дворе, зима на носу... Что она может делать в Ревеле?

— Должно быть, чулки вяжет... себе; себе — не вам.

— Смейтесь, смейтесь; а я вам скажу, что я подобной женщины не знаю. Эта честность, это бескорыстие...

— Подала она вексель ко взысканию? — спросил Шубин.

— Это бескорыстие, — повторил, возвысив голос, Николай Артемыч: — это удивительно. Мне говорят — на свете есть миллион других женщин; а я скажу: покажите мне этот миллион; покажите мне этот миллион, говорю я: *ces femmes — qu'on me les montre!*¹ И не пишет, вот что убийственно.

— Вы красноречивы, как Пифагор, — заметил Шубин, — но знаете ли, что бы я вам присоветовал?

— Что?

— Когда Августина Христиановна возвратится... вы понимаете меня?

— Ну да; что же?

— Когда вы ее увидите... Вы следите за развитием моей мысли?

— Ну да, да.

— Попробуйте ее побить: что из этого выдет?

Николай Артемыч отвернулся с негодованием.

— Я думал, он мне в самом деле какой-нибудь путный совет подаст. Да что от него ожидать! Артист, человек без правил...

— Без правил... А вот, говорят, ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами, вчера вас на сто рублей серебром обыграл. Это уж неделikatно, согласитесь.

— Что ж? Мы играли в коммерческую. Конечно, я мог бы ожидать... Но его так мало умеют ценить в этом доме...

— Что он подумал: куда ни шла! — подхватил Шубин. — Тесть ли он мне или нет — это еще скрыто в урне судьбы, а сто рублей хорошо человеку, который взятку не берет.

— Тесть! Какой я к чорту тесть? *Vous rêvez, mon cher*². Конечно, всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Посудите сами: человек бойкий, умный, сам собой в люди вышел, в двух губерниях лямку тер...

— Вой губернии губернатора за нос водил, — заметил Шубин.

¹ *Ces femmes — qu'on me les montre!* (франц.) — Пусть мне покажут этих женщин!

² *Vous rêvez, mon cher* (франц.) — Вы бредите, дорогой.

— Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик, делец...

— И в карты хорошо играет, — опять заметил Шубин.

— Ну да, и в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна! Разве ее возможно понять? Желая я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет? То она весела, то скучает; похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее, а там вдруг поправится — и все это безо всякой видимой причины...

Вошел неблагоприятный лакей с чашкой кофею, сливочником и сухарями на подносе.

— Отцу нравится жених, — продолжал Николай Артемьич, размахивая сухарем, — а дочери что до этого за дело! Это было хорошо в прежние, патриархальные времена, а теперь мы все это переменили. *Nous avons changé tout ça*¹. Теперь барышня разговаривает с кем ей угодно; читает что ей угодно; отправляется одна по Москве без лакея, без служанки, как в Париже; и все это принято. На-днях я спрашиваю: где Елена Николаевна? Говорят, изволили выйти. Куда? Неизвестно. Что, это порядок?

— Возьмите же вашу чашку да отпустите человека, — промолвил Шубин. — Сами же вы говорите, что не надо *devant les domestiques*, — прибавил он вполголоса.

Лакей исподлобья взглянул на Шубина, а Николай Артемьич взял чашку, налил себе сливок и сгреб штук десять сухарей.

— Я хотел сказать, — начал он, как только лакей вышел, — что я ничего в этом доме не значу — вот и все. Потому, в наше время все судят по наружности: иной человек и пуст и глуп, да важно себя держит — его уважают; а другой, может быть, обладает талантами, которые могли бы... могли бы принести великую пользу, но по скромности...

— Вы государственный человек, Николинька? — спросил Шубин тоненьким голоском.

— Полноте паясничать! — воскликнул с сердцем Николай Артемьич. — Вы забываетесь! Вот вам новое

¹ *Nous avons changé tout ça* (франц.) — Мы все это переменили.

доказательство, что я в этом доме ничего не значу, ни...че...го!

— Анна Васильевна вас притесняет... беденький! — проговорил, потягиваясь, Шубин. — Эх, Николай Артемьич, грешно нам с вами! Вы бы лучше какой-нибудь подарочек для Анны Васильевны приготовили — на-днях ее рождение, а вы знаете, как она дорожит малейшим знаком внимания с вашей стороны.

— Да, да, — торопливо ответил Николай Артемьич: — очень вам благодарен, что напомнили. Как же, как же; непременно. Да вот, есть у меня вещичка: фермуарчик¹, я его на-днях купил у Розенштрауха; только не знаю, право, годится ли?

— Ведь вы его для той, для ревельской жительницы купили?

— То-есть... я... да... я думал...

— Ну, в таком случае, наверно годится.

Шубин поднялся со стула.

— Куда бы нам сегодня вечером, Павел Яковлич, а? — спросил его Николай Артемьич, любезно заглядывая ему в глаза.

— Да ведь вы в клуб поедете?

— После клуба... после клуба.

Шубин опять потянулся.

— Нет, Николай Артемьич, мне пужно завтра работать. До другого разу. — И он вышел.

Николай Артемьич насупился, прошелся раза два по комнате, достал из бюро бархатный ящичек с «фермуарчиком» и долго его рассматривал и обтирал фуляром. Потом он сел перед зеркалом и принялся старательно расчесывать свои густые черные волосы, с важностью на лице наклоняя голову то направо, то налево, упирая в щеку языком и не спуская глаз с пробора. Кто-то кашлянул за его спиной: он оглянулся и увидел лакея, который приносил ему кофе.

— Ты зачем? — спросил он его.

— Николай Артемьич! — проговорил не без некоторой торжественности лакей. — Вы наш барин!

— Знаю: что же дальше?

— Николай Артемьич, вы не извольте на меня про-

¹ Фермуар — ожерелье с застежкой.

гневаться; только я, будучи у вашей милости на службе с малых лет, из рабского, значит, усердия должою вашей милости донести...

— Да что такое?

Лакей помялся на месте.

— Вы вот изволите говорить, — начал он, — что не изволите знать, куда Елена Николаевна отлучаться изволят. Я про то известен стал.

— Что ты врешь, дурак?

— Вся ваша воля, а только я их четвертого дня видел, как оне в один дом изволили войти.

— Где? что? какой дом?

— Вм переулке возле Поварской. Недалече отсюда. Я и у дворника спросил, что, мол, у вас тут какие жильцы?

Николай Артемьич затопал ногами.

— Молчать, бездельник! Как ты смеешь?.. Елена Николаевна, по доброте своей, бедных посещает, а ты... Вон, дурак!

Испуганный лакей бросился было к двери.

— Стой! — воскликнул Николай Артемьич. — Что тебе дворник сказал?

— Да ни... ничего не сказал. Говорит, сту... студент.

— Молчать, бездельник! Слушай, мерзавец, если ты хоть во сне кому-нибудь об этом прсхворишься...

— Помилуйте-с...

— Молчать! Если ты хоть пикнешь... если кто-нибудь... если я узнаю... Ты у меня и под землей-то места не найдешь! Слышишь! Убирайся!

Лакей исчез.

«Господи, боже мой! что это значит? — подумал Николай Артемьич, оставшись один. — Что мне сказал этот болван? А? Надо будет, однако, узнать, какой это дом и кто там живет... Самому сходить. Вот до чего дошло наконец!.. Un laquais! Quelle humiliation!»¹

И, повторив громко: un laquais! Николай Артемьич запер фермуар в бюро и отправился к Анне Васильевне. Он нашел ее в постели, с повязанной щекой. Но вид ее страданий только раздражил его, и он очень скоро довел ее до слез.

¹ Un laquais! Quelle humiliation! (франц.) — Лакей! Какое унижение!

Между тем гроза, собиравшаяся на Востоке, разразилась. Турция объявила России войну; срок, назначенный для очищения княжеств, уже минул; уже недалек был день Синопского погрома. Последние письма, полученные Инсаровым, неотступно звали его на родину. Здоровье его все еще не поправилось: он кашлял, чувствовал слабость, легкие приступы лихорадки; но он почти не сидел дома. Душа его загорелась: он уже не думал о болезни. Он беспрестанно разъезжал по Москве, виделся украдкой с разными лицами, писал по целым ночам, пропадал по целым дням; хозяину он объявил, что скоро выезжает, и заранее подарил ему свою незатейливую мебель. С своей стороны, Елена также готовилась к отъезду. В один ненастный вечер она сидела в своей комнате и, обрубая платки, с невольным унынием прислушивалась к завываниям ветра. Ее горничная вошла и сказала ей, что папенька в маменькиной спальне и зовет ее туда... «Маменька плачут, — шепнула она вслед уходившей Елене, — а папенька гневаются...»

Елена слегка пожала плечами и вошла в спальню Анны Васильевны. Добродушная супруга Николая Артемьевича полулежала в откидном кресле и нюхала платок с одеколоном; сам он стоял у камина, застегнутый на все пуговицы, в высоком, твердом галстуке и в туго накрахмаленных воротничках, смутно напоминая своей осанкой какого-то парламентского оратора. Ораторским движением руки указал он своей дочери на стул, и когда та, не понявши его движения, вопросительно посмотрела на него, он промолвил с достоинством, но не оборачивая головы: «Прошу вас сесть». (Николай Артемьевич всегда говорил жене *вы*, дочери — в экстраординарных случаях.)

Елена села.

Анна Васильевна слезливо высморкалась. Николай Артемьич заложил правую руку за борт сюртука.

— Я вас призвал, Елена Николаевна, — начал он после продолжительного молчанья, — с тем, чтобы объяснить с вами, или, лучше сказать, с тем, чтобы потребовать от вас объяснений. Я вами недоволен... или нет: это слишком мало сказано; ваше поведение огорчает —

оскорбляет меня — меня и вашу мать... вашу мать, которую вы здесь видите.

Николай Артемьевич пускал в ход одни басовые ноты своего голоса. Елена молча посмотрела на него, потом на Анну Васильевну — и побледнела.

— Было время, — начал снова Николай Артемьевич, — когда дочери не позволяли себе глядеть свысока на своих родителей, когда родительская власть заставляла трепетать непокорных; это время прошло, к сожалению; так, по крайней мере, думают многие; но поверьте, еще существуют законы, не позволяющие... не позволяющие... словом, еще существуют законы. Прошу вас обратить на это внимание: законы существуют!

— Но, папенька... — начала было Елена.

— Прошу вас не перебивать меня. Перенесемся мысленно в прошедшее. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг. Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего воспитания: ни издержек, ни попечений. Какую вы пользу извлекли из всех этих попечений, этих издержек — это другой вопрос; но я имел право думать... мы с Анной Васильевной имели право думать, что вы, по крайней мере, свято сохраните те правила нравственности, которые... которые мы вам, как нашей единственной дочери... que nous vous avons inculqués, которые мы вам внушили. Мы имели право думать, что никакие новые «идеи» не коснутся этой, так сказать, заветной святыни. И что же? Не говорю уже о легкомыслии, свойственном вашему полу, вашему возрасту... но кто мог ожидать, что вы до того забудетесь...

— Папенька, — проговорила Елена, — я знаю, что вы хотите сказать...

— Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать! — вскрикнул фальшетом Николай Артемьевич, внезапно изменив и величавости парламентской осанки, и плавной важности речи, и басовым нотам. — Ты не знаешь, дерзкая девочка...

— Ради бога, Nicolas, — пролепетала Анна Васильевна: — vous me faites mourir¹.

— Не говорите мне этого, que je vous fais mourir²,

¹ Vous me faites mourir (франц.) — Вы меня убиваете.

² ...que je vous fais mourir (франц.) — ...что я вас убиваю.

Анна Васильевна! Вы себе и представить не можете, что вы сейчас услышите, — приготовьтесь к худшему, предупреждаю вас!

Анна Васильевна так и обомлела.

— Нет, — продолжал Николай Артемьич, обратившись к Елене, — ты не знаешь, что я хочу сказать!

— Я виновата перед вами... — начала она.

— А! Наконец-то!

— Я виновата перед вами, — продолжала Елена, — в том, что давно не призналась...

— Да ты знаешь ли, — перебил ее Николай Артемьич, — что я могу уничтожить тебя одним словом?

Елена подняла на него глаза.

— Да, сударыня, одним словом... нечего глядеть-то! (Он скрестил руки на груди.) Позвольте вас спросить, известен ли вам некоторый дом вм переулке, возле Поварской? Вы посещали этот дом? (Он топнул ногой.) Отвечай же, негодная, и не думай хитрить! Люди, люди, лакеи, сударыня, de vils laquais¹ видели вас, как вы входили туда — к вашему...

Елена вся вспыхнула, и глаза ее заблестали.

— Мне незачем хитрить, — промолвила она: — да, я посещала этот дом.

— Прекрасно! Слышите, слышите, Анна Васильевна? И вы, вероятно, знаете, кто в нем живет?

— Да, знаю: мой муж.

Николай Артемьич вытаращил глаза.

— Твой...

— Мой муж, — повторила Елена. — Я замужем за Дмитрием Никанорычем Инсаровым.

— Ты?.. замужем?.. — едва проговорила Анна Васильевна.

— Да, мамаша... Простите меня... Две недели тому назад мы обвенчались тайно.

Анна Васильевна упала в кресло; Николай Артемьич отступил на два шага.

— Замужем! За этим оборвышем, черногорцем! Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца! Без родительского благословения! И ты думаешь, что я это так оставляю? что я не буду

¹ De vils laquais (франц.) — презренные лакеи.

жаловаться? что я позволю тебе... что ты... что... В монастырь тебя, а его в каторгу, в арестантские роты! Анна Васильевна, извольте сейчас сказать ей, что вы лишаете ее наследства!

— Николай Артемьич, ради бога, — простионала Анна Васильевна.

— И когда, каким образом это сделалось? Кто вас венчал? где? как? боже мой! что скажут теперь все знакомые, весь свет! И ты, бесстыдная притворщица, могла после эдакого поступка жить под родительской кровлей... ты не побоялась... грома небесного?

— Папенька, — проговорила Елена (она вся дрожала с ног до головы, но голос ее был тверд): — вы вольны делать со мной все что угодно, но напрасно вы обвиняете меня в бесстыдстве и в притворстве. Я не хотела... огорчать вас заранее, но я поневоле на-днях сама была все вам сказала, потому что мы на будущей неделе уезжаем отсюда с мужем.

— Уезжаете? Куда это?

— На его родину, в Болгарию...

— К туркам! — воскликнула Анна Васильевна и лишилась чувств.

Елена бросилась к матери.

— Прочь! — возопил Николай Артемьич и схватил свою дочь за руку. — Прочь, недостойная!

Но в это мгновенье дверь спальни отворилась, и показалась бледная голова с сверкающими глазами: то была голова Шубина.

— Николай Артемьич! — крикнул он во весь голос. — Августина Христиановна приехала и зовет вас!

Николай Артемьич с бешенством обернулся, погрозил Шубину кулаком, остановился на минуту и быстро вышел из комнаты.

Елена упала к ногам матери и обняла ее колени.

Увар Иваныч лежал на своей постели. Рубашка без ворота, с крупной запонкой, охватывала его полную шею и расходилась широкими, свободными складками на его почти женской груди, оставляя на виду большой кипа-

рисовый крест и ладонку¹. Легкое одеяло покрывало его пространные члены. Свечка тускло горела на ночном столике, возле кружки с квасом, а в ногах Увара Иваныча, на постели, сидел, подгорюнившись, Шубин.

— Да, — задумчиво говорил он, — она замужем и собирается уехать. Ваш племянничек шумел и орал на весь дом; заперся, для секрету, в спальню, а не только лакеи и горничные — кучера все слышать могли, — он и теперь так и рвет и мечет, со мной чуть не подрался, с отцовским проклятием носится, как медведь с чурбаном; да не в нем сила. Анна Васильевна убита, но ее гораздо больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество.

Увар Иваныч поиграл пальцами.

— Мать, — проговорил он, — ну... и того.

— Племянник ваш, — продолжал Шубин, — грозитесь и митрополиту, и генерал-губернатору, и министру жалобы подать, а кончится тем, что она уедет. Кому весело свою родную дочь губить! Попетушится — и опустит хвост.

— Пра́ва... не имеют, — заметил Увар Иваныч и отпил из кружки.

— Так, так. А какая поднимется по Москве туча осуждений, пересудов, толков! Она их не испугалась... Впрочем, она выше их. Уезжает она — и куда! даже страшно подумать! В какую даль, в какую глушь! Что ждет ее там? Я гляжу на нее, точно она ночью, в метель, в тридцать градусов мороза, с постоялого двора съезжает. Расстается с родиной, с семьей; а я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? кого видела? Курнатовских, да Берсе-невых, да нашего брата — и это еще лучшие. Чего тут жалеть? Одно худо: говорят, ее муж — чорт знает, язык как-то не поворачивается на это слово, — говорят, Инсаров кровью кашляет; это худо. Я его видел на-днях: лицо, хоть сейчас лепи с него Брута — вы знаете, кто был Брут, Увар Иваныч?

— Что знать? человек.

— Именно: «человек он был». Да, лицо чудесное, а нездоровое, очень нездоровое.

¹ Ладонка — мешочек с каким-нибудь талисманом, которому приписывалась магическая сила.

— Сражаться-то... все равно, — проговорил Увар Иваныч.

— Сражаться-то все равно, точно: вы сегодня совершенно справедливо изволите выражаться; да жить-то не все равно. А ведь ей с ним пожить захочется.

— Дело молодое, — отозвался Увар Иваныч.

— Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай бог всякому. Это не то что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно, в сущности, все равно. А там — натянуты струны, звени на весь мир или повись!

Шубин уронил голову на грудь.

— Да, — продолжал он после долгого молчания: — Инсаров ее стоит. А впрочем, что за вздор, никто ее не стоит. Инсаров... Инсаров... К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал то же, что и мы, грешные, да будто уже мы такая совершенная дрянь? Ну, хоть я, разве я дрянь, Увар Иваныч? Разве бог меня так-таки всем и обидел? Никаких способностей, никаких талантов мне не дал? Кто знает, может быть имя Павла Шубина будет со временем славное имя? Вот у вас на столе лежит медный грош. Кто знает, может быть когда-нибудь, через столетие, эта медь пойдет на статую Павла Шубина, воздвигнутую в честь ему благодарным потомством!

Увар Иваныч оперся на локоть и уставился на разгорячившегося художника.

— Далека песня, — проговорил он наконец, с обычной игрой пальцев: — о других речь, а ты... того... о себе.

— О, великий философ земли русской! — воскликнул Шубин. — Каждое ваше слово — чистое золото, и не мне — вам следует воздвигнуть статую, и за это берусь я! Вот, как вы теперь лежите, в этой позе, — про которую не знаешь, что в ней больше — лени или силы? — так я вас и отолю. Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие! Да, да; нечего говорить о себе: нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Все либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабан-

пые! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, шупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду! Что ж это, Увар Иваныч? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?

— Дай срок, — ответил Увар Иваныч: — будут.

— Будут? Почва! черноземная сила! ты сказала: будут? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите свечку?

— Спать хочу, прощай.

XXXI

Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе Елены чуть не убило Анны Васильевны. Она слегла в постель. Николай Артемьич потребовал от нее, чтоб она не пускала своей дочери к себе на глаза; он как будто обрадовался случаю показать себя в полном значении хозяина дома, во всей силе главы семейства: он непрерывно шумел и гремел на людей, то и дело приговаривая: «Я вам докажу, кто я таков, я вам дам знать — погодите!» Пока он сидел дома, Анна Васильевна не видела Елены и довольствовалась присутствием Зои, которая очень усердно ей услуживала, а сама думала про себя: «Diesen Insaroff vorziehen — und vem!»¹ Но как только Николай Артемьевич уезжал (а это случилось довольно часто: Августина Христиановна взаправду вернулась), Елена являлась к своей матери — и та долго, молча, со слезами глядела на нее. Этот немой укор глубже всякого другого проникал в сердце Елены. Не раскаяние чувствовала она тогда, но глубокую, бесконечную жалость, похожую на раскаяние.

— Мамаша, милая мамаша! — твердила она, целуя ее руки. — Что же было делать? Я не виновата, я полю-

¹ Diesen Insaroff vorziehen — und vem! (нем.) — Предпочесть этого Инсарова — и кому!

била его, я не могла поступить иначе. Вините судьбу! она меня свела с человеком, который не правится папеньке, который увозит меня от вас.

— Ох! — перебивала ее Анна Васильевна, — не напоминай мне об этом. Как я вспомню, куда ты хочешь ехать, сердце у меня так и покатится...

— Милая мамаша, — отвечала Елена, — утешьтесь хоть тем, что могло быть и хуже: я могла бы умереть...

— Да я и так не надеюсь больше тебя видеть. Либо ты кончишь жизнь там, где-нибудь, под шалашом (Анне Васильевне Болгария представлялась чем-то вроде сибирских тундр), либо я не перенесу разлуки.

— Не говорите этого, добрая мамаша, мы еще увидимся, бог даст. А в Болгарии такие же города, как и здесь.

— Какие там города! Там война теперь идет — теперь там, я думаю, куда ни пооди, все из пушек стреляют... Скоро ты ехать собираешься?

— Скоро... если только папенька... Он хочет жаловаться, он грозит развести нас.

Анна Васильевна подняла глаза к небу.

— Нет, Леночка, он не будет жаловаться... Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу, скорее умерла бы; да ведь сделанного не воротишь, а я не дам позорить мою дочь.

Так прошло несколько дней. Наконец Анна Васильевна собралась с духом — и в один вечер заперлась с своим мужем наедине в спальне. Все в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно — потом загудел голос Николая Артемьича, потом завязался спор, поднялись крики, почудились даже стенания... Уже Шубин вместе с горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку, но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в говор и умолк. Только изредка раздавались слабые всхлипывания — и те прекратились. Зазвенели ключи, послышался визг отворяемого бюро... Дверь раскрылась, и появился Николай Артемьич. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в клуб; а Анна Васильевна потребовала к себе Елену, крепко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:

— Все улажено, он не будет поднимать истории... и ничего теперь тебе не мешает уехать... бросить нас.

— Вы позволите Дмитрию притти благодарить вас? — спросила Елена свою мать, как только та немножко успокоилась.

— Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего разлучника... Перед отъездом успеем.

— Перед отъездом, — печально повторила Елена.

Николай Артемыч согласился «не поднимать истории»; но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что обещалась заплатить все его долги да с рук на руки дала ему тысячу рублей серебром. Сверх того, он решительно объявил Анне Васильевне, что не желает встретиться с Инсаровым, которого продолжал величать черногорцем, а приехавши в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены — с своим партнером, отставным инженерным генералом. «Вы слышали, — промолвил он с притворною небрежностью: — дочь моя, от очень большой учености, вышла замуж за какого-то студента». Генерал посмотрел на него через очки, промывчал: «Гм!» и спросил его, в чем он играет.

XXXII

А день отъезда приближался. Ноябрь уже истекал, проходили последние сроки. Инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И доктор его торопил: «Вам нужен теплый климат, — говорил он ему: — вы здесь не поправитесь». Нетерпенье томило и Елену; ее тревожила бледность Инсарова, его худоба... Она часто с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты. Положение ее в родительском доме становилось невыносимым. Мать причитала над ней, как над мертвой, а отец обходился с ней презрительно-холодно: близость разлуки втайне мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорбленного отца, скрывать свои чувства — свою слабость. Анна Васильевна пожелала наконец увидеться с Инсаровым. Его провели к ней тихонько, через заднее крыльцо. Когда он вошел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним, не могла даже решиться взглянуть на него; он сел возле ее кресла и с спокойной почтительностью ожидал

первого ее слова. Елена сидела тут же и держала в руке своей руку матери... Анна Васильевна подняла наконец глаза, промолвила: «Бог вам судья, Дмитрий Никанорыч...» и остановилась: упреки замерли на ее устах.

— Да вы больны! — воскликнула она. — Елена, он у тебя болен.

— Я был нездоров, Анна Васильевна, — ответил Инсаров, — и теперь еще не совсем поправился... Но я надеюсь, родной воздух меня восстановит окончательно.

— Да... Болгария! — пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как пупавка¹ — и она его жена, она его любит... да это сон какой-то...» Но она тотчас же спохватилась. — Дмитрий Никанорыч, — проговорила она, — вы непременно... непременно должны ехать?

— Непременно, Анна Васильевна.

Анна Васильевна посмотрела на него.

— Ох, Дмитрий Никанорыч, не дай вам бог испытать то, что я теперь испытываю... Но вы обещаетесь мне беречь ее, любить ее... Нужды вы терпеть не будете, пока я жива!

Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и Елена и Инсаров припали к ней.



Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями — дома, а пустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в двенадцать часов. За четверть часа до срока пришел Берсенеv. Он полагал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить; но они уже все вперед уехали; уехали также и известные читателю две таинственные личности (они служили свидетелями на свадьбе Инсарова). Портной встретил с поклоном «доброе барина»; он, должно быть, с горя, а может, и с радости, что мебель ему доставалась, сильно выпил; жена скоро его увела. В комнате уже все было прибрано; чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу.

¹ Пупавка, или пупавник, — полевое растение.

Берсенева задумался: много воспоминаний прошло у него по душе.

Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, а «молодые» все еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны: она оставила мать свою лежащую в обмороке; прощанье было очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева: в последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы! Благодарствуйте!» и бросилась ему на шею; Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека? что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком, словом прекратить это томление.

— Собралось опять наше трио, — заговорил он: — в последний раз! Покоримся велениям судьбы, помянем прошлое добром — и с богом на новую жизнь! «С богом, в дальнюю дорогу», запел он... и остановился. Ему вдруг стало совестно и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник; а в это мгновение, в этой комнате, умирало то прошлое, о котором он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим... но все-таки умирало.

— Ну, Елена, — начал Инсаров, обращаясь к жене: — кажется, все? Все заплачено, уложено. Остается только этот чемодан стащить. Хозяин!

Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами.

— Теперь, по русскому обычаю, сесть надо, — заметил Инсаров.

Все сели: Берсенева поместился на старом диванчике; Елена села возле него; хозяйка с дочкой прикорнули на пороге. Все умолкли; все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается... каждому хотелось что-то сказать на прощанье, и каждый (за исключением, разумеется, хозяйки и ее дочери: те только глаза таращили), каждый чувствовал, что в подобные мгновенья позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое

значительное, или умное, или просто задушевное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным. Инсаров поднялся первый и стал креститься... «Прощай, наша комната!» воскликнул он.

Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные, недосказанные желания, обещания писать, последние, полусдавленные прощальные слова...

Елена, вся в слезах, уже садилась в повозку; Инсаров заботливо покрывал ее ноги ковром; Шубин, Берснев, хозяин, его жена, дочка с неизбежным платком на голове, дворник, посторонний мастеровой в полбсагом халате — все стояли у крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, и из саней, стряхая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьич.

— Застал еще, слава богу! — воскликнул он и подбежал к повозке. — Вот тебе, Елена, наше последнее родительское благословение, — сказал он, нагнувшись под балчук, и, достав из кармана сюртука маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала целовать его руки... а кучер между тем вынул из передка саней полубутылку шампанского и три бокала.

— Ну! — сказал Николай Артемьич, — а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели, — надо проводить... и пожелать... — Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который уже успел поместиться возле нее. — Дай бог вам... — начал Николай Артемьич и не мог договорить — и выпил вино; те тоже выпили. — Теперь вам бы следовало, господа, — прибавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу, но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьич побежал рядом с повозкой. — Смотри ж, пиши нам, — говорил он прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолвила: «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте все, прощай Россия!» и откинулась назад. Ямщик взмахнул кнутом, засвистал — повозка, раскрипев полозьями, повернула из ворот направо — и исчезла.

XXXIII

Был светлый апрельский день. По широкой лагуне¹, отделяющей Венецию от узкой полосы наносного морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера². Под низенькой ее крышей, на мягких кожаных подушках, сидели Елена и Инсаров.

Черты лица Елены немного изменились со дня ее отъезда из Москвы; но выражение их стало другое: оно было обдуманнее и строже, и глаза глядели смелее. Все ее тело расцвело, и волосы, казалось, пышнее и гуще лежали вдоль белого лба и свежих щек. В одних только губах, когда она не улыбалась, сказывалось едва заметною складкой присутствие тайной, постоянной заботы. У Инсарова, напротив, выражение лица осталось то же; но черты его жестоко изменились. Он похудел, постарел, побледнел, сгорбился; он почти беспрестанно кашлял коротким сухим кашлем, и впалые глаза его блестели странным блеском. На пути из России Инсаров пролежал почти два месяца больной в Вене и только в конце марта приехал с женой в Венецию: он оттуда надеялся пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию; другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае; Англия и Франция объявили России войну — все славянские земли волновались и готовились к восстанию.

Гондола пристала к внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной чахоточными деревцами (их каждый год сажают, и они умирают каждый год), на внешний край Лидо, к морю.

Они пошли по берегу. Адриатика катила перед ними свои мутносиние волны; они пенились, шипели, набегали и, скатываясь назад, оставляли на песке мелкие раковины и обрывки морских трав.

— Какое унылое место! — заметила Елена. — Я боюсь,

¹ Лагуна — морской залив, отделенный от моря песчаной косой.

² Гондола — венецианская лодка, которой управляет кормовым веслом гондольер (гребец на гондоле).

не слишком ли здесь холодно для тебя; но я догадываюсь, зачем ты хотел сюда приехать.

— Холодно! — возразил с быстротой, но горькой усмешкой Инсаров. — Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться. А приехал я сюда... я тебе скажу зачем. Я гляжу на это море, и мне кажется, что отсюда ближе до моей родины. Ведь она там, — прибавил он, протянув руку на восток. — Вот и ветер оттуда тянет.

— Не пригонит ли этот ветер тот корабль, который ты ждешь? — сказала Елена. — Вон белеет парус, уж не он ли это?

Инсаров посмотрел в морскую даль, куда показывала ему Елена.

— Рендич обещался через неделю все нам устроить, — заметил он. — Иа него, кажется, положиться можно... Слышала ты, Елена, — прибавил он с внезапным одушевлением: — говорят, бедные далматские рыбаки пожертвовали своими свинчатками, — ты знаешь, этими тяжестями, от которых неводá на дно опускаются, — на пули? Денег у них не было, они только и живут, что рыбной ловлей, но они с радостью отдали свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ!

— Aufgepasst! ¹ — крикнул сзади их надменный голос. Раздался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офицер, в короткой серой тюннике и зеленом картузе, проскакал мимо их... Они едва успели посторониться.

Инсаров мрачно посмотрел ему вслед.

— Он не виноват, — промолвила Елена, — ты знаешь, у них здесь нет другого места, чтобы наезжать лошадей.

— Он не виноват, — возразил Инсаров, — да кровь он мне расшевелил своим криком, своими усами, своим картузом, всей своей наружностью. Вернемся.

— Вернемся, Дмитрий. Притом здесь в самом деле дует. Ты не поберегся после твоей московской болезни и поплатился за это в Вене. Надо теперь быть осторожнее.

Инсаров промолчал, только прежняя горькая усмешка скользнула по его губам.

— Хочешь? — продолжала Елена: — покатаемся по Canal Grande ². Ведь мы с тех пор, как здесь, хорошень-

¹ Aufgepasst! (нем.) — Берегись!

² Canal Grande (итал.) — Большой канал; он разделяет надвое главную часть города, которая расположена на острове.

ко не видели Венеции. А вечером поедем в театр: у меня есть два билета на ложу. Говорят, новую оперу дают. Хочешь, мы нынешний день отдадим друг другу, позабудем о политике, о войне, обо всем, будем знать только одно: что мы живем, дышим, думаем вместе, что мы соединены навсегда... Хочешь?

— Ты этого хочешь, Елена, — отвечал Инсаров, — стало быть, и я этого хочу.

— Я это знала, — заметила с улыбкой Елена. — Пойдем, пойдем.

Они вернулись к гондоле, сели и велели взять себя, не спеша, по Canal Grande.

Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к великолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому старцу — Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает желание; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастья. Все в ней светло, понятно и все обвеяно дремотной дымкой какой-то влюбленной тишины; все в ней молчит и все приветно; все в ней женственно, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название *Прекрасной*. Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно-странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама. «Венеция умирает, Венеция опустела», говорят вам ее жители; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты, недоставало ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти, ни Гварди¹ (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. От-

¹ Каналетти, Гварди — итальянские художники-пейзажисты XVIII века; Гварди был особенно известен видами Венеции.

жившему, разбитому жизнью не для чего посещать Венецию: она будет ему горька, как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней; но сладка будет она тому, в ком кипят еще силы, кто чувствует себя благополучным; пусть он принесет свое счастье под ее очарованные небеса — и как бы оно ни было лучезарно, она еще озолотит его неуядаемым сиянием.

Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько минула Riva dei Schiavoni, дворец дождей, Пиадзетту¹ и вошла в Большой канал. С обеих сторон потянулись мраморные дворцы; они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять все свои красоты. Елена чувствовала себя глубоко счастливой: в лазури ее неба стояло одно темное облачко — и оно удалялось: Инсарову было гораздо лучше в тот день. Они доплыли до крутой арки Риальто² и вернулись назад. Елена боялась холода церковей для Инсарова; но она вспомнила об академии delle Belle Arti³ и велела гондольеру ехать туда. Они скоро обошли все залы этого небольшого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они не останавливались перед каждой картиной, не насиловали себя: какая-то светлая веселость неожиданно нашла на них. Им вдруг все показалось очень забавно. (Детям хорошо известно это чувство.) К великому «скаandalу» трех посетителей-англичан, Елена хохотала до слез над святым Марком Тинторета, прыгающим с неба, как лягушка в воду, для спасения истязаемого раба⁴; с своей стороны, Инсаров пришел в восторг от спины и икр того энергического мужа в зеле-

¹ Riva dei Schiavoni (итал.) — набережная Скиавони в центре города. Пиадзетта (Piazzetta) — площадка, примыкающая к главной площади (площадь св. Марка). Здесь же расположен дворец дождей (дож — пожизненно выбранный правитель города-республики Венеции в средние века).

² Риальто — древний мост в Венеции.

³ Академия delle Belle Arti (итал.) — академия изящных искусств.

⁴ Тинторетто Якопо (1518—1594) — один из представителей венецианской школы живописи. Необычность положения лежащего Марка — характерный для Тинторетто прием, к которому он часто прибегал, чтобы подчеркнуть драматизм изображаемых событий.

ной хламиде, который стоит на первом плане Тициановского *Вознесения*¹ и воздымает руки вослед Мадонны; зато сама Мадонна — прекрасная, сильная женщина, спокойно и величественно стремящаяся в лоно бога отца — поразила и Инсарова и Елену; поправилась им также строгая и святая картина старика Чима да-Конельяно². Выходя из академии, они еще раз оглянулись на шедших за ними англичан с длинными заячьими зубами и висячими бакенбардами — и засмеялись; увидали своего гондольера с куцой курткой и короткими панталонами — и засмеялись; увидали торговку с узелком седых волос на самой вершине головы — и засмеялись пуше прежнего; посмотрели, наконец, друг другу в лицо — залились смехом, а как только сели в гондолу — крепко-крепко пожали друг другу руку. Они приехали в гостиницу, побежали в свою комнату и велели подать себе обедать. Веселость не покидала их и за столом. Они потчевали друг друга, пили за здоровье московских приятелей, рукоплескали камернеру за вкусное блюдо рыбы и всё требовали от него живых *frutti di mare*³, камернере пожимался и шаркал ногами, а выходя от них, покачивал головой и раз даже со вздохом шепнул: *roveretti!* (бедняжки!). После обеда они отправились в театр.

В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам, русским, — *Травиату*⁴. Сезон в Венеции миновал, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности; каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования.

¹ Тициан (ок. 1477—1576) — наиболее знаменитый представитель венецианской школы живописи.

² Чима да-Конельяно — прозвище художника венецианской школы Чима (конец XV — начало XVI века).

³ *Frutti di mare* (итал.) — буквально: морских плодов, то-есть съедобных морских ракушек.

⁴ Опера итальянского композитора Верди «Травиата»; впервые исполнялась в Венеции в 1853 году, то-есть в том же году, когда по ходу действия в романе ее слушают Инсаров и Елена. Говоря, что опера хорошо известна русским, Тургенев имеет в виду исполнение «Травиаты» в Петербурге в сезоне 1858/59 года.

Это была молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом. Одета она была до наивности просто и плохо: красная сетка покрывала ее волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки восходили до острых локтей; да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются парижские камелии! и держаться на сцене она не умела; но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним италиянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в темной ложе, возле самой сцены; игривое расположение духа, которое нашло на них в академии *delle Belle Arti*, все еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, попавшего в сети соблазнительницы, появился на сцене в гороховом фраке и взъерошенном белом парике, раскрыл криво рот и, сам заранее смущаясь, выпустил унылое басовое *тремоло*¹, они чуть оба не прыснули... Но игра Виолетты подействовала на них.

— Этой бедной девушке почти не хлопают, — сказала Елена, — а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась и все была бы на эффект. Этой как будто самой не до шутки; посмотри, она не замечает публики.

Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту.

— Да, — промолвил он, — она не шутит: смертью пахнет.

Елена умолкла.

Начался третий акт. Занавес поднялся... Елена дрогнула при виде этой постели, этих завешанных гардин, стклянок с лекарством, заслоненной лампы... Вспомнилось ей близкое прошедшее... «А будущее... а настоящее?» мелькнуло у ней в голове. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова... Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выраже-

¹ Тремоло — музыкальный термин: очень быстрое повторное чередование одного или нескольких не соседних звуков.

ние безмятежное и спокойное; Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать пеннию.

Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась все лучше, все свободнее. Она отбросила все постороннее, все ненужное и *нашла себя*: редкое, высочайшее счастье для художника! Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота. Публика восторгалась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певицы не звучал, как разбитый: он согрелся и окреп. Явился «Альфредо»; радостный крик Виолетты чуть не поднял той бури, имя которой *fanatismo*¹ и перед которой ничто все наши северные завывания... Мгновение — и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший номер оперы, в котором удалось композитору выразить все сожаления безумно растраченной молодости, последнюю борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего сочувствия, с слезами художнической радости и действительного страдания на глазах, певица отдалась поднимавшейся ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком внезапно приблизившейся смерти, с таким, до неба достигающим, порывом молоденька, исторглись у ней слова: «*Lascia mi vivere... morir si giovane!*» (дай мне жить... умереть такой молодой!), что весь театр затрепал от бешеных рукоплесканий и восторженных кликов.

Елена вся похолодела. Она начала тихо искать свою руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крепко. Он ответил на ее пожатие; но ни она не посмотрела на него, ни он на нее... Это пожатие не походило на то, которым они, несколько часов тому назад, приветствовали друг друга в гондоле.

Они поплыли в свою гостиницу опять по Canal Grande. Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертаний окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой

¹ *Fanatismo* (итал.) — фанатизм; здесь: необычайный восторг зрителей.

мглою ровной тени. Гондолы с своими маленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные гребни — таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи; там, сям, коротко и негромко восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют); других звуков почти не было слышно. Гостиница, где жили Инсаров и Елена, находилась на Riva dei Schiavoni; не доезжая до нее, они вышли из гондолы и прошлись несколько раз вокруг площади св. Марка, под арками, где перед крошечными кофейными толпилось множество праздного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно: все кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и того же счастья, которым исполнен сам. Но Елена уже не могла беспечно предаваться чувству своего счастья — сердце ее, потрясенное недавними впечатлениями, не могло успокоиться — а Инсаров, проходя мимо дворца дождей, указал молча на жерла австрийских пушек, выглядывавших из-под нижних сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувствовал себя усталым — и, взглянув в последний раз на церковь св. Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света, они медленно вернулись домой.

Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, растилающуюся от Riva dei Schiavoni до Джиудекки¹. Почти напротив их гостиницы возвышалась остроконечная башня св. Георгия; направо, высоко в воздухе, сверкал золотой шар Доганы — и разубранная, как невеста, стояла красивейшая из церквей, Redentore, Палладия²; налево чернели мачты и реи кораблей, трубы пароходов; кой-где висел, как большое крыло, наполовину подо-

¹ Джиудекка, или Джудекка, — название острова, на котором расположена южная окраина Венеции, отделенная одноименным широким каналом от остальной части города.

² Палладио Андреа (1508—1580) — итальянский архитектор, стремившийся выработать строгий, мужественный стиль архитектуры на основе изучения образцов античного зодчества. Redentore — одно из лучших созданий Палладио в Венеции.

брачный парус, и вымпела едва шевелились. Инсаров присел перед окном, но Елена не дала ему долго любоваться видом; у него вдруг показался жар, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его в постель и, дождавшись, пока он заснул, тихонько вернулась к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом — под этими святыми, невинными лучами! «О боже! — думала Елена, — зачем смерть? зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо — эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас — вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, — все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? («*Morig si giovane*», звучало у ней в душе)... Неужели нельзя умолить, отвратить, спасти... О боже! неужели нельзя вернуть чуду?» Она положила голову на сжатые руки. «Довольно? — шепнула она. — Неужели уже довольно! Я была счастлива, не одни только минуты, не часы, не целые дни — нет, целые недели сряду. А с какого права?» Ей стало страшно своего счастья. «А если этого нельзя? — подумала она. — Если это не дается даром? Ведь это было небо... а мы люди, бедные, грешные люди... *Morig si giovane*... О, темный призрак, удались! Не для меня одной нужна его жизнь!»

«Но если это — наказание, — подумала она опять, — если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину? Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это доказательство невинности? О боже, неужели мы так преступны! Неужели ты, создавший эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, что мы любили? А если так, если он виноват, если я виновата, — прибавила она с невольным порывом, — так дай ему, о боже, дай нам обонм умереть, по крайней мере, честной, славной смертью — там, на родных его полях, а не здесь, не в этой глухой комнате».

«А горе бедной, одинокой матери?» спросила она себя, и сама смутилась, и не нашла возражений на свой вопрос. Елена не знала, что счастье каждого человека основано на несчастьи другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя — пьедестала, невыгоды и неудобства других.

«Рендич!» пролепетал сквозь сон Инсаров.

Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и отерла пот с лица. Он пометался немного на подушке и затих.

Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она начала самоё себя уговаривать и уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть опасность? разве ему не лучше? — шепнула она. — Ведь если бы мы не были сегодня в театре, мне бы все это в голову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над водою белую чайку; ее, вероятно, испугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот, если она полетит сюда, — подумала Елена, — это будет хороший знак...» Чайка закружилась на месте, сложила крылья — и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена вздрогнула, а потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.

XXXIV

Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем теле. Однако он встал.

— Рендич не приходил? — было его первым вопросом.

— Нет еще, — отвечала Елена и подала ему последний номер *Osservatore Triestino*, в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал читать; она занялась приготовлением для него кофею... Кто-то постучался в дверь.

«Рендич», подумали оба, но стучавший проговорил по-русски: «Можно войти?» Елена и Инсаров переглянулись с изумленьем, и, не дождавшись их ответа, вошел в

комнату щегольски одетый человек, с маленьким, остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость.

Инсаров приподнялся со стула.

— Вы не узнаете меня, — заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно кланяясь Елене. — Лупояров, помните, мы в Москве встретились у Е...х?

— Да, у Е...х, — произнес Инсаров.

— Как же, как же! Прошу вас представить меня вашей супруге. Сударыня, я всегда глубоко уважал Дмитрия Васильевича... (он поправился): Никанора Васильича, — и очень счастлив, что имею наконец честь с вами познакомиться. Вообразите, — продолжал он, обратившись к Инсарову: — я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой гостинице. Что это за город, эта Венеция — поэзия, да и только! Одно ужасно: проклятые австрияки на каждом шагу! — уж эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произошло решительное сражение: 300 турецких офицеров убито, Силлистрия взята, Сербия уже объявила себя независимой. Не правда ли, вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне самом славянская кровь так и кипит! Однако я советую вам быть осторожнее; я уверен, что за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный человек и спрашивает: «Русский ли я?» Я ему сказал, что я датчанин... А только вы, должно быть, нездоровы, любезнейший Никанор Васильич. Вам надобно полечиться; сударыня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера, как сумасшедший, бегал по дворцам и по церквам — ведь вы были во дворце дожей? Что за богатство везде! Особенно эта большая зала и место Марино Фальеро; так и стоит: *decapitati pro criminibus*¹. Я был и в знаменитых тюрьмах: вот где душа моя возмутилась — я,

¹ Марино Фальери — дож, казнен в 1355 году за участие в заговоре представителей среднего сословия с целью свергнуть тиранню крупной торговой аристократии, которой принадлежала власть в Венеции. Среди портретов дожей, находящихся во дворце, место Фальери оставлено пустым и снабжено надписью: «Здесь место Марино Фальери, обезглавленного за преступление»; часть этой надписи приведена в тексте романа.

вы, может быть, помните, всегда любил заниматься социальными вопросами и восставал против аристократии — вот бы я куда привел защитников аристократии: в эти тюрьмы; справедливо сказал Байрон: «I stood in Venice on the Bridge of Sighs»¹; впрочем, и он был аристократ. Я всегда был за прогресс. Молодое поколение все за прогресс. А каковы англо-французы? Посмотрим, много ли они сделают: Бустрapa и Пальмерстон². Вы знаете, Пальмерстон сделался первым министром. Нет, что ни говорите, русский кулак не шутка. Ужасный плут этот Бустрapa! Хотите, я вам дам *Les châtimens de Victor Hugo*³ — удивительно! *L'avenir le gendarme de Dieu*⁴ — смело немножко сказано — но сила, сила. Хорошо также сказал князь Вяземский: «Европа твердит: Баш-Кадык-Лар, глаз не сводя с Си-попа»⁵. Я люблю поэзию. У меня также есть последняя книжка Прудона⁶, у меня все есть. Не знаю, как вы, а я рад войне; только как бы домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим: во Францию нельзя — так я думаю в Испанию, женщины там, говорят, удивительные, только бедность и насекомых много. Махнул бы в Калифорнию, нам, русским, все ни-почем, да я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в Средиземном море. Вы

¹ I stood in Venice on the Bridge of Sighs (англ.) — первый стих четвертой песни «Странствий Чайльд-Гарольда» Дж. Байрона: «Я стоял в Венеции на Мосту вздохов».

² Бустрapa — презрительное прозвище Наполеона III (1803—1873), бездарного политического деятеля, президента, а потом французского императора, низложенного после катастрофы при Седане. Пальмерстон (1784—1865) — английский реакционный политический деятель и дипломат 30—50-х годов.

³ *Les châtimens de Victor Hugo* (франц.) — «Возмездие», сборник политических стихотворений знаменитого французского поэта, драматурга и беллетриста В. Гюго (1802—1885). Сборник был направлен против второй империи и Наполеона III.

⁴ *L'avenir le gendarme de Dieu* (франц.) — Будущее — исполнитель providения.

⁵ Из стихотворения П. А. Вяземского (1792—1878) «Нахимов. Бегов победы близнецы» (1853), посвященного разгрому турецкого флота эскадрой адмирала Нахимова; было напечатано в сборнике «К ружью» (1854).

⁶ Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист и анархист. Маркс и Энгельс вели решительную борьбу с взглядами Прудона, которые были враждебны пролетарскому социализму.

скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны, нужны специалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика... А вы очень нездоровы, Никанор Васильевич, я вас, может быть, утомляю, но все равно, я еще посижу немножко...

И долго еще трещал таким образом Лупояров, уходя, обещался побывать.

Измученный неожиданным посещением, Инсаров лежал на диване.

— Вот, — с горечью промолвил он, взглянув на Елену, — вот ваше молодое поколение! Иной важничает и рисуется, а в душе такой же свистун, как этот господин.

Елена не возражала своему мужу: в это мгновение ее гораздо больше беспокоила слабость Инсарова, чем состояние всего молодого поколения России... Она села возле него, взяла работу. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, весь бледный и худой. Елена взглянула на его резко обрисовавшийся профиль, на его вытянутые руки, и внезапный страх защемил ей сердце.

— Дмитрий... — начала она.

Он встрепенулся.

— Что? Рендич приехал?

— Нет еще... но как ты думаешь — у тебя жар, ты, право, не совсем здоров, не послать ли за доктором?

— Тебя этот болтун напугал. Не нужно. Я отдохну немного, и все пройдет. Мы после обеда опять поедем... куда-нибудь.

Прошло два часа... Инсаров все лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не открывал глаз. Елена не отходила от него; она уронила работу на колени и не шевелилась.

— Отчего ты не спишь? — спросила она его наконец.

— А вот, погоди. — Он взял ее руку и положил ее себе под голову. — Вот так... хорошо. Разбуди меня сейчас, как только Рендич приедет. Если он скажет, что корабль готов, мы тотчас отправимся... Надобно все уложить.

— Уложить не долго, — отвечала Елена.

— Что этот человек болтал о сражении, о Сербии? — проговорил спустя немного Инсаров. — Должно быть, все выдумал. Но надо, надо ехать. Терять времени нельзя... Будь готова.

Он заснул, и все затихло в комнате.

Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода испортилась; ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу, тонкая лачта качалась в отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвизывался, падал и взвизывался снова. Маятник старинных часов стучал тяжело, с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула.

Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет, лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними. Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают — уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками... Елена узнает их лица; ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны... все закружилось, смешалось...

Елена осматривается: попрежнему все бело вокруг; по это снег, снег, бесконечный снег. И она уже не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. «Разве она не умерла?» думает она.

— Катя, куда это мы с тобой едем?

Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами... «Катя, Катя, это Москва?» — «Нет, — думает Елена: — это Соловецкий монастырь: там много-много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тесно, — там Дмитрий заперт. Я должна его освободить...» Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. «Елена, Елена!» слышится голос из бездны.

«Елена!» раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый,

как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившемся лице.

— Елена! — произнес он, — я умираю.

Она с криком упала на колени и прижалась к его груди.

— Все кончено, — повторил Инсаров: — я умираю.. Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина!..

И он навзничь опрокинулся на диван.

Елена выбежала из комнаты, стала звать на помощь, камериере бросился за доктором. Елена припала к Инсарову.

В это мгновение на пороге двери показался человек, широкоплечий, загорелый, в толстом байковом пальто и клеенчатой низкой шляпе. Он остановился в недоумении.

— Рендич! — воскликнула Елена, — это вы! Посмотрите, ради бога, с ним дурно! Что с ним? Боже, боже! Он вчера выезжал, он сейчас говорил со мною...

Рендич ничего не сказал и только посторонился. Мимо его проворно прошмыгнула маленькая фигурка в парике и в очках: это был доктор, живший в той же гостинице. Он приблизился к Инсарову.

— Синьора, — сказал он спустя несколько мгновений: — господин иностранец скончался — *il signore forestiere e morto* — от аневризма, соединенного с расстройством легких.

XXXV

На другой день, в той же комнате, у окна стоял Рендич; перед ним, закутавшись в шаль, сидела Елена. В соседней комнате в гробу лежал Инсаров. Лицо Елены было и испуганно и безжизненно; на лбу, между бровями, появились две морщины: они придавали напряженное выражение ее неподвижным глазам. На окне лежало раскрытое письмо Анны Васильевны. Она звала свою дочь в Москву, хоть на месяц, жаловалась на свое одиночество, на Николая Артемьича, кланялась Инсарову, осведомлялась об его здоровье и просила его отпустить жену.

Рендич был далмат, моряк, с которым Инсаров познакомился во время своего путешествия на родину и которого он отыскал в Венеции. Это был человек суровый, грубый, смелый и преданный славянскому делу. Он презирал турок и ненавидел австрийцев.

— Сколько времени вы должны остаться в Венеции? — спросила его по-итальянски Елена. И голос ее был без жизни, как и лицо.

— День, чтобы нагрузиться и не возбудить подозренья; а там прямо в Зару. Не обрадую я наших земляков. Его уже давно ждали; на него надеялись.

— На него надеялись, — повторила машинально Елена.

— Когда вы его хороните? — спросил Рендич.

Елена не тотчас отвечала:

— Завтра.

— Завтра? Я останусь: я хочу бросить горсть земли в его могилу. Надо ж и вам помочь. А лучше было бы ему лежать в славянской земле.

Елена поглядела на Рендича.

— Капитан, — сказала она, — возьмите меня с ним и перевезите нас по ту сторону моря, прочь отсюда. Возможно это?

Рендич задумался.

— Возможно, только хлопотно. Надобно будет возиться с здешним проклятым начальством. Но положим, мы это все уладим, похороним его там; как же я вас назад доставлю?

— Вам не нужно будет доставлять меня назад.

— Как? Где же вы останетесь?

— Я уже найду себе место; только возьмите нас, возьмите меня.

Рендич почесал у себя в затылке.

— Как знаете, но все это очень хлопотно. Пойду, попытаюсь — а вы ждите меня здесь часа через два.

Он ушел. Елена перешла в соседнюю комнату, прислонилась к стене и долго стояла, как окаменелая. Потом она опустилась на колени, но молиться не могла. В ее душе не было упреков; она не дерзала вопрошать бога, зачем не пощадил, не пожалел, не сберег, зачем наказал свыше вины, если и была вина. Каждый из нас виноват уже тем, что живет, и нет такого великого мы-

слителя, нет такого благодетеля человечества, который в силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что имеет право жить... Но Елена молиться не могла: она окаменела.

В ту же ночь широкая лодка отчалила от гостиницы, где жили Инсаровы. В лодке сидела Елена с Рендичем и стоял длинный ящик, покрытый черным сукном. Они плыли около часу и приплыли наконец к небольшому двухмачтовому кораблику, который стоял на якоре у самого выхода гавани. Елена и Рендич взошли на корабль; матросы внесли ящик. С полуночи поднялась буря, но поутру рано корабль уже миновал Лидо. В течение дня буря разыгралась с страшной силой, и опытные моряки в конторах «Ллойда» качали головами и не ждали ничего доброго. Адриатическое море между Венецией, Триестом и далматским берегом чрезвычайно опасно.

Недели три после отъезда Елены из Венеции Анна Васильевна получила в Москве следующее письмо:

«Милые мои родные, я навсегда прощаюсь с вами. Вы меня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрий. Все кончено для меня. Сегодня я уезжаю с его телом в Зару. Я его схороню, и что со мной будет, не знаю! Но уже мне нет другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мною будет; но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. Вероятно, я всего этого не перенесу — тем лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила не даром: кто знает, может быть я его убила; теперь его очередь увлечь меня за собою. Я искала счастья — и найду, быть может, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина... Но смерть все прикрывает и примиряет, — не правда ли?

Простите мне все огорчения, которые я вам причинила: это было не в моей воле. А вернуться в Россию — зачем? Что делать в России?

Примите мои последние лобзанья и благословенья и не осуждайте меня.

Е.»

С тех пор минуло уже около пяти лет, и никакой вести не приходило больше об Елене. Бесплодны остались все письма, запросы; напрасно сам Николай Артемьич, после заключения мира, ездил в Венецию, в Зару; в Венеции он узнал то, что уже известно читателю, а в Зару никто не мог дать ему положительных сведений о Рендиче, о корабле, который он нанял. Ходили темные слухи, будто бы, несколько лет тому назад, море, после сильной бури, выкинуло на берег гроб, в котором нашли труп мужчины... По другим, более достоверным сведениям, гроб этот вовсе не был выкинут морем, но привезен и похоронен возле берега иностранной дамой, приехавшей из Венеции; некоторые прибавляли, что эту даму видели потом в Герцеговине при войске, которое тогда собиралось; описывали даже ее наряд, черный с головы до ног. Как бы то ни было, след Елены исчез навсегда и безвозвратно, и никто не знает, жива ли она еще, скрывается ли где, или уже кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее легкое брожение и настала очередь смерти. Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя: неужели мне уже тридцать... сорок... пятьдесят лет? Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так близко надвинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет.

Что случилось с остальными лицами нашего рассказа? Анна Васильевна еще жива: она очень постарела после поразившего ее удара, жалуется меньше, но гораздо больше грустит. Николай Артемьич тоже постарел и поседел, и расстался с Августинной Христиановной... Он теперь бранит все иностранное. Ключница его, красивая женщина лет тридцати, из русских, ходит в шелковых платьях и носит золотые кольца и сережки. Курнатовский, как человек с темпераментом и в качестве энергического брюнета охотник до милловидных блондинок, женился на Зое; она у него в большом повиновении и даже перестала думать по-немецки. Берсенев находится в Гейдельберге: его на казенный счет отправили за гра-

ницу; он посетил Берлин, Париж и не теряет даром времени; из него выйдет дельный профессор. Ученая публика обратила внимание на его две статьи: *О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний* и — *О значении городского начала в вопросе цивилизации*; жаль только, что обе статьи написаны языком несколько тяжелым и испещрены иностранными словами. Шубин в Риме; он весь предан своему искусству и считается одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей. Строгие пуристы¹ находят, что он не довольно изучил древних, что у него нет «стиля», и причисляют его к французской школе; от англичан и американцев у него пропасть заказов. В последнее время много шуму наделала одна его Вакханка; русский граф Бобошкин, известный богач, собирался было купить ее за 1000 скуди², но предпочел дать 3000 другому ваятелю, французу *pur sang*³, за группу, изображающую «Молодую поселанку, умирающую от любви на груди Геня Весны». Шубин изредка переписывается с Уваром Иванычем, который один несколько и ни в чем не изменился. «Помните, — писал он ему недавно, — что вы мне сказали в ту ночь, когда стал известен брак бедной Елены, когда я сидел на вашей кровати и разговаривал с вами? Помните, я спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди? и вы мне отвечали: «будут». О, черноземная сила! И вот, теперь я, отсюда, из моего «прекрасного далека», снова вас спрашиваю: ну что же, Увар Иваныч, будут?»

Увар Иваныч поиграл перстами и устремил в дальние свой загадочный взор.

1859 г.



¹ Пуристы — в данном случае: люди, стремящиеся сохранить в неприкосновенности нормы искусства прошлого.

² Скуди, или скудо, — старинная итальянская серебряная монета.

³ *Pur sang* (франц.) — чистокровный.

Приложение

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

**КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ
НАСТОЯЩИЙ
ДЕНЬ?**



Schlage die Trommel und
fürchte dich nicht. Heine¹.

Эстетическая критика сделалась теперь принадлежностью чувствительных барышень. Из разговоров с ними служители чистого искусства могут почерпнуть много тонких и верных замечаний и затем написать критику в таком роде. «Вот содержание новой повести г. Тургенева (рассказ содержания). Уже из этого бледного очерка видно, как много тут жизни и поэзии самой свежей и благоуханной. Но только чтение самой повести может дать понятие о том чутье к тончайшим поэтическим оттенкам жизни, о том остром психическом анализе, о том глубоком понимании невидимых струй и течений общественной мысли, о том дружелюбном и вместе смелом отношении к действительности, которые составляют отличительные черты таланта г. Тургенева. Посмотрите, например, как тонко подмечены эти психические черты (повторение одной части из рассказа содержания и затем — выписка); прочтите эту чудную сцену, исполненную такой грации и прелести (выписка); припомните эту поэтическую живую картину (выписка) или вот это высокое, смелое изображение (выписка). Не правда ли, что это проникает в глубину души, заставляет сердце

¹ Schlage die Trommel und fürchte dich nicht (нем.) — первая строка из программного стихотворения немецкого революционного поэта Генриха Гейне (1799—1856) «Доктрина» — «Бей в барабан и не бойся» (пер. М. Михайлова).

ваше биться сильнее, оживляет и украшает вашу жизнь, возвышает перед вами человеческое достоинство и великое, вечное значение святых идей истины, добра и красоты! *Comme c'est joli, comme c'est délicieux!*»¹

Малому знакомству с чувствительными барышнями одолжены мы тем, что не умеем писать таких приятных и безвредных критик. Откровенно признаваясь в этом и отказываясь от роли «воспитателя эстетического вкуса публики», мы избираем другую задачу, более скромную и более соразмерную с нашими силами. Мы хотим просто подвести итог тем данным, которые рассеяны в произведении писателя и которые мы принимаем как совершившийся факт, как жизненное явление, стоящее перед нами. Работа нехитрая, но нужная, потому что, за множеством занятий и отдыхов, редко кому придет охота самому всмотреться во все подробности литературного произведения, разобрать, проверить и поставить на свое место все цифры, из которых составляется этот сложный отчет об одной из сторон нашей общественной жизни, и затем подумать об итоге и о том, что он обещает и к чему нас обязывает. А такого рода проверка и размышление очень небесполезны по поводу новой повести г. Тургенева.

Мы знаем, что чистые эстетика² сейчас же обвинят нас в стремлении навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту. Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нет, мы ничего автору не навязываем, мы заранее говорим, что не знаем, с какой целью, вследствие каких предварительных соображений изобразил он историю, составляющую содержание повести «Накануне». Для нас не столько важно то, что *хотел* сказать автор, сколько то, что *сказалось* им, хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни. Мы дорожим всяким талантливым произведением именно потому, что в нем можем изучать факты нашей родной жизни, которая без того так мало открыта взору простого наблюдателя. В нашей жизни до

¹ *Comme c'est joli, comme c'est délicieux!* (франц.) — Как это красиво, как это очаровательно!

² Чистые эстетика — сторонники реакционной теории искусства для искусства, то-есть безыдейного, оторванного от жизни искусства.

сих пор нет публичности, кроме официальной; везде мы сталкиваемся не с живыми людьми, а с официальными лицами, служащими по той или другой части: в присутственных местах — с чистописателями, на балах — с танцорами, в клубах — с картежниками, в театрах — с парикмахерскими пациентами, и т. д. Всякий хоронит дальше свою душевную жизнь; всякий так и смотрит на вас, как будто говорит: «Ведь я сюда пришел, чтоб танцевать, или чтоб прическу показать; ну, и будь доволен тем, что я делаю свое дело, и не вздумай, пожалуйста, выпытывать от меня мои чувства и понятия». И действительно, — никто никого не выпытывает, никто никем не интересуется, и все общество идет врозь, досадуя, что должно сходиться в официальных случаях, вроде новой оперы, званого обеда или какого-нибудь комитетского заседания. Где же тут узнать и изучить жизнь человеку, не посвятившему себя исключительно наблюдению общественных нравов? А тут еще какое разнообразие, какая даже противоположность в различных кругах и сословиях нашего общества! Мысли, сделавшиеся в одном круге уже пошлыми и отсталыми, в другом — еще жарко оспариваются; что у одних признается недостаточным и слабым, то другим кажется слишком резким и смелым, и т. п. Что падает, что побеждает, что начинает водворяться и преобладать в нравственной жизни общества, — на это у нас нет другого показателя, кроме литературы и, преимущественно, художественных ее произведений. Писатель-художник, не заботясь ни о каких общих заключениях относительно состояния общественной мысли и нравственности, всегда умеет, однако же, уловить их существеннейшие черты, ярко осветить и прямо поставить их пред глазами людей размышляющих. Вот почему и полагаем мы, что как скоро в писателе-художнике признается талант, то-есть умение чувствовать и изображать жизненную правду явлений, то, уже в силу этого самого признания, произведения его дают законный повод к рассуждениям о той среде жизни, о той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение. И меркою для таланта писателя будет здесь то, до какой степени широко захвачена им жизнь, в какой мере прочны и многосбъятны те образы, которые им созданы.

Мы сочли нужным высказать это для того, чтобы оправдать свой прием — толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения, не навязывая, впрочем, автору никаких заранее сочиненных идей и задач. Читатель видит, что для нас именно те произведения и важны, в которых жизнь сказалась сама собою, а не по заранее придуманной автором программе. О «Тысяче душ»¹, например, мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мнению, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее. Стало быть, тут не о чем и толковать, кроме того, в какой степени ловко составил автор свое сочинение. Положиться на правду и живую действительность фактов, изложенных автором, невозможно, потому что внутреннее отношение его к этим фактам не просто и не правдиво. Совсем не такие отношения автора к сюжету видим мы в новой повести г. Тургенева, как и в большей части его повестей. В «Накануне» мы видим неотразимое влияние естественного хода общественной жизни и мысли, которому невольно подчинилась сама мысль и воображение автора.

Поставляя главной задачей литературной критики — разъяснение тех явлений действительности, которые вызвали известное художественное произведение, мы должны заметить притом, что в приложении к повестям г. Тургенева эта задача имеет еще особенный смысл. Г. Тургенева по справедливости можно назвать живописателем и певцом той морали и философии, которая господствовала в нашем образованном обществе в последнее двадцатилетие. Он быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях обыкновенно обращал (сколько позволяли обстоятельства) внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество. Мы надеемся при другом случае проследить всю литературную деятельность г. Тургенева и потому теперь не станем распространяться об этом. Скажем только, что этому чуткою автора к живым струнам общества, этому уменью тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще на-

¹ «Тысяча душ» — роман писателя А. Ф. Писемского (1820—1881); был опубликован в 1858 году.

чинающее проникать в сознание лучших людей, мы приписываем значительную долю того успеха, которым постоянно пользовался г. Тургенев в русской публике. Конечно, и литературный талант сам по себе много помог этому успеху. Но читатели наши знают, что талант г. Тургенева не из тех титанических талантов, которые единственно силою поэтического представления поражают, захватывают вас и влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым вы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная, порывистая сила, а напротив — мягкость и какая-то поэтическая умеренность служат характеристическими чертами его таланта. Поэтому мы полагаем, что он не мог бы вызвать общую симпатию публики, если бы касался вопросов и потребностей, совершенно чуждых его читателям или еще не возбужденных в обществе. Некоторые заметили бы прелесть поэтических описаний в его повестях, тонкость и глубину в очертаниях разных лиц и положений, но, без всякого сомнения, этого было бы недостаточно для того, чтобы сделать прочный успех и славу писателю. Без живого отношения к современности всякий, даже самый симпатичный и талантливый повествователь должен подвергнуться участи г. Фета, которого и хвалили когда-то, но из которого теперь только десяток любителей помнит десяток лучших стихотворений. Живое отношение к современности спасло г. Тургенева и упрочило за ним постоянный успех в читающей публике. Некоторый глубокомысленный критик даже упрекал когда-то г. Тургенева за то, что в его деятельности так сильно отразились «все колебания общественной мысли». Но мы, несмотря на это, видим здесь именно самую жизненную сторону таланта г. Тургенева и этой стороной объясняем, почему с такой симпатией, почти с энтузиазмом встречалось до сих пор каждое его произведение.

Итак, мы можем сказать смело, что если уже г. Тургенев тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений, — это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или скоро подымется в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется резко и ярко пред глазами всех. Поэтому каждый раз

при появлении повести г. Тургенева делается любопытный вопрос: какие же стороны жизни изображены в ней, какие вопросы затронуты?

Вопрос этот представляется и теперь, и в отношении к новой повести г. Тургенева он интереснее, чем когда-либо. До сих пор путь г. Тургенева, сообразно с путем развития нашего общества, был довольно ясно намечен в одном направлении. Исходил он из сферы высших идей и теоретических стремлений и направлялся к тому, чтобы эти идеи и стремления внести в грубую и пошлую действительность, далеко от них уклонившуюся. Борьбы на борьбу и страдания героя, хлопотавшего о победе своих начал, и его падение пред подавляющею силою людской пошлости — и составляли обыкновенно интерес повестей г. Тургенева. Разумеется, самые основания борьбы, то-есть идеи и стремления, видоизменялись в каждом произведении или с течением времени и обстоятельств выказывались более определенно и резко. Таким образом Лишнего человека сменял Пасынков, Пасынкова — Рудин, Рудина — Лаврецкий¹. Каждое из этих лиц было смелее и полнее предыдущих, но сущность, основа их характера и всего их существования была одна и та же. Они были носители новых идей в известный круг, просветители, пропагандисты — хоть для одной женской души, да пропагандисты. За это их очень хвалили, и точно — в свое время они, видно, очень нужны были, и дело их было очень трудно, почтенно и благотворно. Недаром же все встречали их с такой любовью, так сочувствовали их душевным страданиям, так жалели об их бесплодных усилиях. Недаром никто тогда и не думал заметить, что все эти господа — отличные, благородные, умные, но, в сущности, бездельные люди. Рисуя их образы в разных положениях и столкновениях, сам г. Тургенев относился к ним обыкновенно с трогательным участием, с сердечной болью об их страданиях, и то же чувство возбуждал постоянно в массе читателей. Когда один мотив этой борьбы и страданий начинал казаться уже недостаточным, когда одна черта благородства и возвышенности характера начинала как будто покры-

¹ Пасынков, Рудин, Лаврецкий — герои произведений И. С. Тургенева: «Яков Пасынков» (1855), «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859).

ваться некоторой пошлостью, г. Тургенев умел находить другие мотивы, другие черты, и опять попадал в самое сердце читателя и опять возбуждал к себе и своим героям восторженную симпатию. Предмет казался неистощимым.

Но в последнее время в нашем обществе обнаружались довольно заметно требования, совершенно отличные от тех, которыми вызван был к жизни Рудин и вся его братия. В отношении к этим лицам в понятиях образованного большинства произошло коренное изменение. Вопрос пошел уже не о видоизменении тех или других мотивов, тех или других начал их стремлений, а о самой сущности их деятельности. В течение того периода времени, пока рисовались перед нами все эти просвещенные поборники истины и добра, красноречивые страдалцы возвышенных убеждений, подросли новые люди, для которых любовь к истине и честность стремлений уже не в диковинку. Они с детства, неприметно и постоянно, напитывались теми понятиями и стремлениями, для которых прежде лучшие люди должны были бороться, сомневаться и страдать в зрелом возрасте¹. Поэтому самый характер образования в нынешнем молодом обществе получил другой цвет. Те понятия и стремления, которые прежде давали титул передового человека, теперь уже считаются первой и необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности. От гимназиста, от посредственного кадета, даже иногда от порядочного семинариста вы услышите ныне выражение таких убеждений, за которые в прежнее время должен был спорить и горячиться, например, Белинский. И гимназист или кадет высказывают эти понятия, — так труд-

¹ Нас уже упрекали однажды в пристрастии к молодому поколению и указывали на пошлость и пустоту, которой оно предается в большей части своих представителей. Но мы никогда и не думали отстаивать всех молодых людей огулом, да это и не согласно было бы с нашей целью. Пошлость и пустота составляют достояние всех времен и всех возрастов. Но мы говорили и теперь говорим о людях избранных, людях лучших, а не о толпе, так как и Рудин и все люди его закала принадлежали ведь не к толпе же, а к лучшим людям своего времени. Впрочем, мы не будем неправы, если скажем, что и в массе общества уровень образования в последнее время все-таки возвысился. (Примеч. Добролюбова.)

но, с бою доставшиися прежде, — совершенно спокойно, без всякого азарта и самодовольства, как вещь, которая иначе и быть не может, и даже немислима иначе.

Встречая человека так называемого прогрессивного направления, никто уже теперь из порядочных людей не предается удивлению и восторгу, никто не смотрит ему в глаза с немым благоговением, не жмет ему таинственно руки и не приглашает шопотом к себе, в кружок избранных людей, — поговорить о том, что неправосудие и рабство гибельны для государства. Напротив, теперь с невольным, презрительным изумлением останавливаются пред человеком, который выказывает недостаток сочувствия к тласности, бескорыстию, эманципации и т. п. Теперь даже люди, в душе не любящие прогрессивных идей, должны показывать вид, что любят их, для того чтобы иметь доступ в порядочное общество. Ясно, что при таком положении дел прежние сеятели добра, люди рудинского закала, теряют значительную долю своего прежнего кредита. Их уважают как старых поставщиков; но редко кто, вошедши в свой разум, расположен выслушивать опять те уроки, которые с такой жадностью принимались прежде, в возрасте детства и первоначального развития. Нужно уже нечто другое, нужно идти дальше¹.

¹ Против этой мысли может, повидимому, свидетельствовать необыкновенный успех, которым встречаются издания сочинений некоторых наших писателей сороковых годов. Особенно ярким примером может служить Белинский, которого сочинения быстро разошлись, говорят, в количестве 12 тысяч экземпляров*. Но, по нашему мнению, этот самый факт служит лучшим подтверждением нашей мысли. Белинский был передовой из передовых, дальше его не пошел ни один из его сверстников, и там, где расхвачано в несколько месяцев 12 тысяч экземпляров Белинского, Рудным просто уже делать нечего. Успех Белинского доказывает вовсе не то, что его идеи еще новы для нашего общества и требуют больших усилий для распространения, а именно то, что они дороги и святы теперь для большинства и что их проповедание теперь уже не требует от новых деятелей ни героизма, ни особенных талантов. (*Примеч. Добролюбова.*)

* Сочинения В. Г. Белинского были изданы в двенадцати томах в 1859—1862 годах, когда с имени и сочинений великого критика впервые был снят правительственный запрет. Добролюбов имеет в виду первые тома этого издания, вышедшие к началу 1860 года.

«Но скажут нам, ведь общество не дошло же до крайней точки в своем развитии; возможно дальнейшее совершенствование умственное и нравственное. Стало быть, нужны для общества и руководители, и проповедники истины, и пропагандисты, словом — люди рудинского типа. Все прежнее принято и вошло в общее сознание, — положим. Но это не исключает возможности того, что явятся новые Рудины, проповедники новых, высших тенденций, и опять будут бороться и страдать, и опять возбуждать к себе симпатию общества. Предмет этот, действительно, нестоющим в своем содержании и постоянно может принести новые лавры такому писателю, как г. Тургенев».

Жалко было бы, если бы подобное замечание оправдалось именно теперь. К счастью, оно, кажется, опровергается последним движением литературы нашей. Рассуждая отвлеченно, нельзя не сознаться, что мысль о вечном движении и вечной смене идей в обществе, а следовательно, и о постоянной необходимости проповедников этих идей — вполне справедлива. Но ведь нужно же принять во внимание и то, что общества живут не затем только, чтобы рассуждать и меняться идеями. Идеи и их постепенное развитие только потому и имеют свое значение, что они, рождаясь из существующих уже фактов, всегда предшествуют изменениям в самой действительности. Известное положение дел создает в обществе потребность, потребность эта сознается, вслед за общим сознанием ее должна явиться фактическая перемена в пользу удовлетворения сознанной всеми потребности. Таким образом, после периода *сознавания* известных идей и стремлений должен являться в обществе период их *осуществления*; за размышлениями и разговорами должно следовать дело. Спрашивается теперь: что же делало наше общество в последние 20—30 лет? Покамест ничего. Оно училось, развивалось, слушало Рудинных, сочувствовало их неудачам в благородной борьбе за убеждения, приготавлилось к делу, но ничего не делало... В голове и сердце накопилось так много прекрасного; в существующем порядке дел замечено так много нелепого и бесчестного; масса людей, «сознающих себя выше окружающей действительности», растет с каждым годом, — так что скоро, пожалуй, все будут

выше действительности... Кажется, нечего желать, чтоб мы продолжали вечно идти этим томительным путем разлада, сомнения и отвлеченных горестей и утешений. Кажется, ясно, что теперь нужны нам не такие люди, которые бы еще более «возвышали нас над окружающей действительностью», а такие, которые бы подняли — или нас научили поднять — самую действительность до уровня тех разумных требований, какие мы уже сознали. Словом, нужны люди дела, а не отвлеченных, всегда немножко эпикурейских рассуждений.

Сознание этого, хотя смутно, но уже во многих выразилось при появлении «Дворянского гнезда»¹. Талант г. Тургенева, вместе с его верным тактом действительности, вынес его и на этот раз с торжеством из трудного положения. Он умел поставить Лаврецкого так, что над ним неловко пронизировать, хотя он и принадлежит к тому же роду бездельных типов, на которые мы смотрим с усмешкой. Драматизм его положения заключается уже не в борьбе с собственным бессилием, а в столкновении с такими понятиями и правами, с которыми борьба, действительно, должна устрашить даже энергического и смелого человека. Он женат и отступился от своей жены; но он полюбил чистое, светлое существо, воспитанное в таких понятиях, при которых любовь к женатому человеку есть ужасное преступление. А между тем она его тоже любит, и его притязания могут непрерывно и страшно терзать ее сердце и совесть. Над таким положением поневоле задумаешься горько и тяжело, и мы помним, как болезненно сжалось наше сердце, когда Лаврецкий, прощаясь с Лизой, сказал ей: «ах, Лиза, Лиза! как бы мы могли быть счастливы», и когда она, уже смиренная монахиня в душе, ответила: «вы сами видите, что счастье зависит не от нас, а от бога», и он начал было: «да потому что вы...» и не договорил... Читатели и критики «Дворянского гнезда», помнится, восхищались многим другим в этом романе. Но для нас существеннейший интерес его заключается в этом трагическом столкновении Лаврецкого, пассивность которого, именно в этом случае, мы не

¹ Роман И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» был напечатан в первом номере журнала «Современник» за 1859 год.

можем не извинить. Здесь Лаврецкий, как будто изменяя одной из родовых черт своего типа, почти не является даже пропагандистом. Начиная с первой встречи с Лизой, когда она шла к обедне, он во всем романе робко склоняется пред неизбежностью ее понятий и ни разу не смеет приступить к ней с холодными разуверениями. Но и это, конечно, потому, что здесь пропаганда была бы самым делом, которого Лаврецкий, как и вся его братия, боится. При всем том, нам кажется (по крайней мере, казалось при чтении романа), что самое положение Лаврецкого, самая коллизия, избранная г. Тургеневым и столь знакомая русской жизни, должны служить сильною пропагандою и наводить каждого читателя на ряд мыслей о значении целого огромного отдела понятий, направляющих пашей жизнью. Теперь, по разным печатным и словесным отзывам, мы знаем, что были не совсем правы: смысл положения Лаврецкого был понят иначе или совсем не выяснен многими читателями. Но что в нем есть что-то законно-трагическое, а не призрачное, — это было понято, и это, вместе с достоинствами исполнения, привлекло к «Дворянскому гнезду» единодушное, восторженное участие всей читающей русской публики.

После «Дворянского гнезда» можно было опасаться за судьбу нового произведения г. Тургенева. Путь создания возвышенных характеров, принужденных смиряться под ударами рока, сделался очень скользким. Посреди восторгов от «Дворянского гнезда» слышались и голоса, выражавшие неудовольствие на Лаврецкого, от которого ожидали больше. Сам автор счел нужным ввести в свой рассказ Михалевича затем, чтобы тот обругал Лаврецкого байбаком. А Илья Ильич Обломов¹, появившийся в то же время, окончательно и резко объяснил всей русской публике, что теперь человеку бессильному и безвольному лучше уж и не смешить людей, лучше лежать на своем диване, нежели бегать, суетиться, шуметь, рассуждать и переливать из пустого в порожнее целые годы и десятки лет. Прочитавши Обломова, публика поняла его родство с интересными личностями «лишних людей» и сообразила, что эти люди теперь уже действительно лишние и что от них толку ровно столько

¹ Роман И. А. Гончарова «Обломов» был напечатан в 1859 году в № 1—4 журнала «Отечественные записки».

же, сколько и от добрейшего Ильи Ильича «Что же теперь создаст г. Тургенев?» думали мы и с большим любопытством принялись читать «Накануне».

Чутье настоящей минуты и на этот раз не обмануло автора. Сознавши, что прежние герои уже сделали свое дело и не могут возбуждать прежней симпатии в лучшей части нашего общества, он решился оставить их и, уловивши в нескольких отрывочных проявлениях веяние новых требований жизни, попробовал стать на дорогу, по которой совершается передовое движение настоящего времени...

В новой повести г. Тургенева мы встречаем другие положения, другие типы, нежели к каким привыкли в его произведениях прежнего периода. Общественная потребность дела, живого дела, начало презрения к мертвым абстрактным принципам и пассивным добродетелям выразилось во всем строе новой повести. Без сомнения, каждый, кто будет читать нашу статью, уже прочитал теперь «Накануне»¹. Поэтому мы, вместо рассказа содержания повести, представим только коротенький очерк главных ее характеров.

Героиней романа является девушка с серьезным складом ума, с энергической волей, с гуманными стремлениями сердца. Развитие ее совершилось очень своеобразно благодаря особенным обстоятельствам семейным.

Отец и мать ее были люди очень ограниченные, но не злые: мать даже положительно отличалась добротой и мягкостью сердца. С самого детства Елена была избавлена от семейного деспотизма, который губит в зародыше так много прекрасных натур. Она росла одна, без подруг, совершенно свободно; никакой формализм не стеснял ее. Николай Артемьевич Стахов, отец ее, человек туповатый, но корчивший из себя философа скептического тона и державшийся подальше от семейной жизни, сначала только восхищался своей маленькой Еленой, в которой рано обнаружились необыкновенные

¹ Роман «Накануне» был напечатан в первой книге журнала «Русский вестник» за 1860 год. Статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день» была написана сразу после выхода журнала и появилась в третьей книге «Современника» за тот же год.

способности. Елена, пока была мала, тоже с своей стороны обожала отца. Но отношения Стахова к жене были не совсем удовлетворительны: он женился на Анне Васильевне для ее приданого, не питал к ней никакого чувства, обходился с нею почти с пренебрежением и удалялся от нее в общество Августины Христиановны, которая его обирала и дурачила. Анна Васильевна, больная и чувствительная женщина, вроде Марьи Дмитриевны «Дворянского гнезда», кротко переносила свое положение, но не могла на него не жаловаться всем в доме и, между прочим, даже дочери. Таким образом, Елена скоро сделалась поверенною горестей своей матери и становилась невольною судьей между ней и отцом. При впечатлительности ее натуры, это имело большое влияние на развитие ее внутренних сил. Чем менее она могла действовать практически в этом случае, тем более представлялось работы ее уму и воображению. Принужденная с ранних лет всматриваться во взаимные отношения близких ей людей, участвуя и сердцем и головой в разъяснении смысла этих отношений и произнесении суда над ними, Елена рано приучила себя к самостоятельному размышлению, к сознательному взгляду на все окружающее. Семейные отношения Стаховых очеркнуты у г. Тургенева очень бегло, но в этом очерке есть глубоко верные указания, весьма много объясняющие первоначальное развитие характера Елены. По натуре своей она была ребенком впечатлительным и умным; положение ее между матерью и отцом рано вызвало ее на серьезные размышления, рано подняло ее до самостоятельной, до властительной роли. Она становилась в уровень с старшими, делала их подсудимыми пред собою. И в то же время размышления ее не были холодны, с ними сливалась вся душа ее, потому что дело шло о людях слишком близких, слишком дорогих для нее, об отношениях, с которыми связаны были самые святые чувства, самые живые интересы девочки. Оттого-то ее размышления прямо отражались на ее сердечном расположении: от обожания отца она перешла к страстной привязанности к матери, в которой она стала видеть существо притесненное, страдающее. Но в этой любви к матери не было ничего враждебного к отцу, который не был ни злодеем, ни положительным дураком, ни домаш-

ним тираном. Он был только весьма обыкновенной посредственностью, и Елена охладела к нему, — инстинктивно, а потом, может, и сознательно, решивши, что любить его не за что. Да скоро ту же посредственность увидала она и в матери, и в сердце ее, вместо страстной любви и уважения, осталось лишь чувство сожаления и снисхождения: г. Тургенев очень удачно очертил ее отношения к матери, сказавши, что она «обходилась с матерью, как с больной бабушкой». Мать признала себя ниже дочери; отец же, как только дочь стала перерастать его умственно, что было очень нетрудно, охладел к ней, решил, что она странная, и отступился от нее.

А в ней между тем все росло и расширялось сострадательное, гуманное чувство. Боль о чужом страдании была возбуждена в ее ребяческом сердце убитым видом матери, конечно, еще прежде, нежели она стала понимать хорошенько, в чем дело. Эта боль давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждом новом шаге ее развития, придавала особенный, задумчиво-серьезный склад ее мыслям, мало-помалу вызвала и определила в ней деятельные стремления и все их направила к страстному, неодолимому исканию добра и счастья для всех. Еще смутны были эти искания, слабы силы Елены, когда она нашла новую пищу для своих размышлений и мечтаний, новый предмет своего участия и любви — в странном знакомстве с нищей девочкой Катей. На десятом году подружилась она с этой девочкой, тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички (игрушек Катя не брала), сидела с ней по целым часам, с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб; слушала ее рассказы, выучилась ее любимой песенке, с тайным уважением и страхом слушала, как Катя обещалась убежать от своей злой тетки, чтобы жить на всей божьей доле, и сама мечтала о том, как она паденет сумку и убежит с Катей. Катя скоро умерла, но знакомство с ней не могло не оставить резких следов в характере Елены. К ее чистым, человеческим, сострадательным расположениям оно прибавило еще новую сторону: оно внушило ей то презрение или, по крайней мере, то строгое равнодушие к ненужным излишествам богатой жизни, которое всегда проникает душу не совсем испорченного

человека в виду беспомощной нищеты. Скоро вся душа Елены загорелась жаждою деятельного добра, и жажда эта стала на первый раз удовлетворяться обычными делами милосердия, какие возможны были для Елены. «Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала о них всех своих знакомых». Даже «все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими». Отец ее называл все это пошлым нежничаньем; но Елена не была сентиментальна, потому что сентиментальность именно характеризуется избытком чувств и слов при совершенном недостатке деятельной любви, а чувство Елены постоянно стремилось проявиться на деле. Пустых ласк и нежностей она не терпела и вообще не придавала значения словам без дела и уважала только практически-полезную деятельность. Даже стихов она не любила, даже в художествах толку не знала.

Но деятельные стремления души зреют и крепнут только при деятельности просторной и вольной. Надо испробовать несколько раз свои силы, испытать неудачи и столкновения, узнать, чего стоят разные усилия и как преодолеваются разные препятствия, — для того чтобы приобрести отвагу и решимость, необходимые для деятельной борьбы, чтобы узнать меру своих сил и уметь найти для них соответственную работу. Елена, при всей свободе своего развития, не могла найти достаточно средств для того, чтобы деятельно упражнять свои силы и удовлетворять свои стремления. Ей никто не мешал делать, что она хочет; но делать было нечего. Ее не стесняли педантизмом систематического учения, и потому она умела образоваться, не принявши в себя множества предрассудков, неразлучных с системами, курсами и вообще с рутинною образованью. Она много и с участием читала; но одно чтение не могло удовлетворять ее; оно имело только то влияние, что рассудочная сторона развилась в Елене сильнее других и умственная требовательность стала пересиливать даже живые стремления сердца. Подавание милостыни, уход за щенками и котятами, защита мухи от паука — тоже не могли удовлетво-

рить ее: когда она стала побольше и поумнее, она не могла не увидеть всю скудость этой деятельности; да притом — эти занятия требовали от нее весьма мало усилий и не могли наполнять ее существования. Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше; но чего — она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело. От этого и находилась она постоянно в какой-то ажитации¹, все ждала и искала чего-то; от этого и наружность ее приняла такой особенный характер. «Во всем ее существе, в выражении лица, *внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном*, было что-то первичское, электрическое, что-то *порывистое и торопливое...*» Ясно, что она еще находится в неопределенных сомнениях относительно самой себя, она еще не определила своей роли. Она поняла, чего ей не нужно, и смотрит гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; по что ей нужно, и главное — что делать, чтобы достигнуть того, что нужно, — этого она еще не знает, и потому все существо ее напряженно, неровно, порывисто. Она все ждет, все живет накануне чего-то... Она готова к самой живой, энергической деятельности, но приступить к делу сама по себе, одна — она не смеет.

Эта несмелость, эта практическая пассивность героини, при богатстве внутренних сил и при томительной жажде деятельности, — невольно поражает нас и в самом лице Елены заставляет видеть что-то недоделанное. Но в этой недоделанности личности, в недостатке практической роли мы и видим живую связь героини г. Тургенева со всем нашим образованным обществом. По тому, как задуман характер Елены в его основе, она представляет явление исключительное, и если бы на самом деле она являлась везде выразительницею своих воззрений и стремлений — она бы оказалась чуждою русскому обществу и не имела бы для нас такого близкого смысла, как теперь. Она была бы лицом сочиненным, растением, неудачно пересаженным на нашу почву откуда-нибудь из другой земли. Но верное чутье дей-

¹ А ж и т а ц и я — сильное возбуждение, взволнованное состояние.

ствительности не позволило г. Тургеневу придать своей героине полного соответствия практической деятельности с теоретическими ее понятиями и внутренними порывами души. На это еще не дает писателю материалов наша общественная жизнь. Во всем нашем обществе заметно теперь только еще пробудившееся желание приняться за настоящее дело, сознание пошлости разных красивых игрушек, возвышенных рассуждений и неподвижных форм, которыми мы так долго себя тешили и дурачили. Но мы еще все-таки не вышли из той сферы, в которой так спокойно было нам спать, да и не знаем хорошенько, где выход; а если кто и узнает, то еще боится открыть его. Это трудное, томительное переходное положение общества необходимо кладет свою печать и на художественное произведение, вышедшее из среды его. В обществе могут быть отдельные сильные натуры, отдельные лица могут достигать высокого развития нравственного; вот и в литературных произведениях являются такие личности. Но все это так и остается только в очерке натуры лица, а в жизнь не переносится; предполагается возможным, но в действительности не совершается. В Ольге «Обломова» мы видели женщину идеальную, далеко ушедшую в своем развитии от всего остального общества; но где ее практическая деятельность? Она способна, кажется, создать новую жизнь, а живет, между тем, в той же пошлости, в какой и все ее подруги, потому что от этой пошлости некуда уйти ей. Штольц ей нравится, как энергичная, деятельная натура; а между тем и он, при всем искусстве автора «Обломова» в обрисовке характеров, является перед нами только со своими способностями и не дает видеть, как он их применяет; он лишен почвы под ногами и плавает перед нами как будто в каком-то тумане. Теперь в Елене г. Тургенева мы видим новую попытку создания энергического, деятельного характера и не можем сказать, чтобы обрисовка самого характера не удалась автору. Если и редко кому случалось встречать таких женщин, как Елена, зато, конечно, многим приходилось замечать в самых обыкновенных женщинах зародыши тех или других существенных черт ее характера, возможность развития многих из ее стремлений. Как идеальное лицо, составленное из лучших элементов, разви-

вающихся в нашем обществе, Елена понятна и близка нам. Самые стремления ее определяются для нас очень ясно: Елена как будто служит ответом на вопросы и сомнения Ольги, которая, поживши с Штольцем, томится и тоскует и сама не может дать себе отчета — о чем. В образе Елены объясняется причина этой тоски, необходимо поражающей всякого порядочного русского человека, как бы ни хороши были его собственные обстоятельства. Елена жаждет деятельного добра, она ищет возможности устроить счастье вокруг себя, потому что она не понимает возможности не только счастья, но даже и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастья, бедность и унижение ее ближних.

Но какую же деятельность, сообразную с такими внутренними требованиями, мог дать г. Тургенев своей героине? На это даже и отвлеченным образом трудно ответить; а художественно создать эту деятельность, вероятно, еще и невозможно для русского писателя настоящего времени. Неоткуда взять деятельности, и поневоле автор заставил свою героиню дешевым образом проявлять свои высокие стремления в подаче милостыни да в спасении заброшенных котят. За деятельность, требующую большего напряжения и борьбы, она и не умеет и боится приняться. Она видит во всем окружающем ее, что одно давит другое, и потому, именно вследствие своего гуманного, сердечного развития, старается держаться в стороне от всего, чтобы как-нибудь тоже не начать давить других. В доме ни в чем не заметно ее влияние; отец и мать ей как чужие; они боятся ее авторитета, но никогда она не обратится к ним с советом, указанием или требованием. Для нее живет в доме компаньонка Зоя, молодая добродушная немка; Елена от нее сторонится, почти не говорит с ней, и отношения их очень холодны. Тут же проживает Шубин, молодой художник, о котором мы сейчас будем говорить; Елена уничтожает его своими строгими приговорами, но и не думает постараться приобрести над ним какое-нибудь влияние, которое было бы ему очень полезно. Во всей повести нет ни одного случая, где бы жажда деятельного добра заставила Елену вмешаться в дела окружающей ее среды и проявить чем-нибудь свое влияние. Мы не думаем, чтоб это зависело от случайной ошибки

автора; нет, в нашем обществе еще очень недавно, да и не между женщинами, а из среды мужчин, возвышался и блистал особенный тип людей, гордившихся своим устранением от окружающей их среды. «Тут невозможно сохранить себя чистым, — говорили они, — и притом вся эта среда так мелка и пошла, что лучше удалиться от нее в сторону». И они точно удалялись, не сделав ни одной энергической попытки для исправления этой пошлой среды, и удаление их считалось единственным честным выходом из их положения и прославлялось как подвиг. Естественно, что, имея в виду такие примеры и понятия, автор не мог лучше осветить домашнюю жизнь Елены, как поставив ее совершенно в стороне от этой жизни. Впрочем, как мы сказали, бессилию Елены придан в повести особенный мотив, вытекающий из ее женственного, гуманного чувства: она боится всяких столкновений, — не по недостатку мужества, а из опасения нанести кому-нибудь оскорбление и вред. Никогда не испытав полной, деятельной жизни, она воображает еще, что ее идеалы могут быть достигнуты без борьбы, без ущерба кому бы то ни было. После одного случая (когда Инсаров героически бросил в воду пьяного немца) она писала в своем дневнике: «Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким?» Эта простая мысль пришла ей в голову только теперь, да и то еще в виде вопроса, которого она так и не разрешает.

В этой-то неопределенности, в этом бездействии при непрерывном томительном ожидании чего-то, доживает Елена до двадцатого года своей жизни. По временам ей очень тяжело; она сознает, что силы ее пропадают даром, что жизнь ее пуста; она говорит про себя: «хоть бы в служанки куда-нибудь пошла, право; мне было бы легче». Это тяжкое расположение увеличивается в ней тем, что она ни в ком не находит отзыва на свои чувства, ни в ком не видит опоры для себя. Иногда ей кажется, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России... Ей становится страшно, и потребность сочувствия развивается сильнее, и она напряженно и трепетно ждет другой души, кото-

рая бы умела понять ее, отозваться на ее святые чувства, помочь ей, научить ее, что надо делать. В ней являлось желание отдаться кому-нибудь, слить с кем-нибудь свое существо, и ей становилась неприятною даже эта самостоятельность, с которою она так одиноко стояла в кругу близких ей людей. «С шестнадцатилетнего возраста она жила собственной своею жизнью, но жизнью одинокою. Ее душа разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было; никто не стеснял ее; никто не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась сама себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви, а любить некого», думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений».

При таком-то настроении ее сердца, летом, на даче в Кушове, застает ее действие повести. В короткий промежуток времени являются пред нею три человека, из которых один привлекает к себе всю ее душу. Тут есть, впрочем, и четвертый, эпизодически введенный, но тоже не лишний господин, которого мы тоже будем считать. Трое из этих господ — русские, четвертый — болгар, и в нем-то нашла свой идеал Елена. Посмотрим на всех этих господ.

Один из молодых людей, страстно по-своему влюбленный в Елену, — художник Павел Яковлич Шубин, хорошенький и грациозный юноша лет 25, добродушный и остроумный, веселый и страстный, беспечный и талантливый. Он доводится троюродным племянником Анне Васильевне, матери Елены, и потому очень близок с молодой девушкой и надеется заслужить ее серьезное расположение. Но она постоянно смотрит на него свысока и считает его неглупым, но балованным ребенком, с которым нельзя обращаться серьезно. Впрочем, Шубин говорит своему другу: «было время, я ей нравился», и действительно, у него много условий для того, чтобы нравиться; немудрено, что и Елена на минуту придала более значения его хорошим сторонам, нежели его недостаткам. Но скоро она увидела *художественность* этой натуры, увидела, что здесь все зависит от минуты, ничего нет постоянного и надежного, весь организм составлен из противоречий: лень заглушает способности, а да-

ром потраченное время вызывает потом бесплодное раскаяние, подымает желчь, возбуждает презрение к самому себе, которое, в свою очередь, служит утешением в неудачах и заставляет гордиться и любоваться собою. Все это Елена поняла инстинктивно, без тяжелых мук недоумения, и потому решение ее относительно Шубина совершенно спокойно и беззлобно. «Вы воображаете, что во мне все притворно; вы не верите моему раскаянию, не верите, что я могу искренно плакать!» говорит ей однажды Шубин в отчаянном порыве. И она не отвечает: «не верю», а говорит просто: «нет, Павел Яковлич, я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю; но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже». Шубин так и дрогнул от этого простого приговора, который, действительно, должен был глубоко вознестись в его сердце. Он сам никогда не предполагал, чтоб его порывы, противоречия, страдания, метания из стороны в сторону можно было понять и объяснить так просто и верно. При этом объяснении он даже перестает делаться «интересным человеком». И действительно, как только Елена составила о нем мнение, — он уже не занимает ее. Ей все равно — тут он или нет, помнит о ней или забыл, любит ее или ненавидит; у ней с ним ничего нет общего, хотя она не прочь искренно похвалить его, если он сделает что-нибудь достойное его таланта...

Другой начинает занимать ее мысли. Этот совершенно в ином роде; он неуклюж, старообраз, лицо его некрасиво и даже несколько смешно, но выражает привычку мыслить и доброту. Кроме того, по словам автора, какой-то *«отпечаток порядочности»* замечался во всем его неуклюжем существе». Это Андрей Петрович Берснев, близкий друг Шубина. Он философ, ученый, читает историю Гогенштауфенов и другие немецкие книжки и исполнен скромности и самоотвержения. На возгласы Шубина: «нам нужно счастья, счастья! Мы завоюем себе счастье!» он недоверчиво возражает: «будто нет ничего выше счастья?» — и затем между ними происходит такой разговор:

— А например? — спросил Шубин и остановился.

— Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим, каждый из нас желает себе счастья. Но такое ли это слово: «счастье», которое соединило, воспламе-

вило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгонстическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

— Да; и их немало; и ты их знаешь.

— Ну-ка, какие это слова?

— Да хоть бы искусство — так как ты художник, — родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь? — спросил Шубин.

— И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь, не любовь-наслаждение — любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

— Это хорошо для немцев; я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

— Номером первым, — повторил Берсенева. — А мне кажется, поставить себя номером вторым — все назначение нашей жизни.

— Если все так будут поступать, как ты советуешь, — промолвил с жалобной гримасой Шубин, — никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

— Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся — всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.

Из этого разговора видно, какие благородные принципы у Берсенева и как душа его способна к тому, что называется самоотвержением. Она выражает искреннюю готовность пожертвовать своим счастьем для одного из тех слов, которые он называет «соединяющими». Этим он должен привлечь сочувствие такой девушки, как Елена. Но тут же видно и то, почему он не может овладеть всею ее душою, всею полнотою ее жизни. Это один из героев пассивных добродетелей, человек, умеющий многое перенести, многим пожертвовать, вообще выказать благородное поведение, когда приведет к тому случай; но он не сумеет и не посмеет определить себя на широкую и смелую деятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную роль в каком-нибудь деле. Он сам хочет быть номером вторым, потому что в этом видит назначение всего живущего; и действительно, роль его в повести напоминает отчасти Бизьменкова в «Лишнем человеке» и еще более Крупицына в «Двух приятелях»¹. Он, влюбленный в Елену, становится посредником между нею и Инсаровым, которого она полюбила, великодушно помогает им, ухаживает за Инсаровым во время

¹ «Дневник лишнего человека» (1850) и «Два приятеля» (1854) — повести И. С. Тургенева.

его болезни, отказывается от своего счастья в пользу друга, хотя и не без стеснения сердца и даже не без ропота. Сердце у него доброе и любящее, но из всего видно, что добро он всегда будет делать не столько по влечению сердца, сколько потому, что *надо* делать добро. Он находит, что надо жертвовать своим счастьем для родины, науки и пр., и этим самым он осуждает себя быть вечным рабом и мучеником идеи. Он отделяет свое счастье, например, от родины; он бедняк, не умеет возвыситься до того, чтобы понять благо родины нераздельно с своим собственным счастьем и чтобы не понимать счастья для себя иначе, как при благоденствии родины. Напротив, он как будто боится, что его личное счастье будет мешать благу родины, торжеству справедливости, успехам науки, и т. п. Оттого он боится желать себе счастья и, по благородству своих принципов, решается жертвовать им для означенных им идей, считая это, разумеется, большим одолжением с своей стороны. Ясно, что такого человека только и хватит на пассивное благородство. Но не ему слиться душою с каким-нибудь великим делом, не ему позабыть весь мир для любимой мысли, не ему воспламениться ею и сражаться за нее, как за свою радость, свою жизнь, за свое счастье... Он делает то, что велит ему долг, стремится к тому, что признает справедливым по принципу; но действия его вялы, холодны, неуверенны, потому что он постоянно сомневается в своих силах. Он отлично кончил курс в университете, любит науку, занимается постоянно и желает быть профессором: кажется, чего проще? Но когда Елена спрашивает его о профессорстве, он считает нужным с похвальной скромностью оговориться: «конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого... Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен; но я надеюсь получить позволение съездить за границу...» Точь-в-точь вступление к академической речи: «надеюсь, мм. гг., что вы благосклонно извините сухость и бледность моего изложения», и пр...

А между тем профессорство, о котором Берснев так отзывается, составляет заветную мечту его! На вопрос Елены, будет ли он вполне доволен своим положением, если получит кафедру, — он отвечает: «Вполне, Елена

Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Подумайте, пойти по следам Тимофея Николаевича...¹ Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением... да, смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил». То же сознание своих малых сил заставляет его упорно не верить тому, что Елена его полюбила, а потом сокрушаться, что она к нему стала равнодушна. Это самое сознание проглядывает и в том, когда он рекомендует своего приятеля Инсарова, между прочим, тем, что он денег займа не берет. Тем же сознанием отзываются даже его рассуждения о природе. Он говорит, что природа возбуждает в нем какое-то беспокойство, тревогу, даже грусть, и спрашивает Шубина: «Что это значит? Сильнее ли мы сознаем перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то-есть, я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?» В этом пустопорожне-романтическом роде большая часть рассуждений Берсенева. А между тем в одном месте повести упоминается, что он рассуждал о Фейербахе: вот любопытно бы послушать, что он о Фейербахе-то говорит!..

Итак, Берсенов — весьма хороший русский дворянин, воспитанный в началах долга и пустившийся потом в ученость и философию. Он гораздо дельнее и надежнее Шубина, и если его повести по какому-нибудь пути, то он пойдет охотно и прямо. Но сам вести он не может не только других, но и даже себя самого: инициативы нет у него в натуре, и он не успел ее приобрести ни в воспитании, ни в последующей жизни. Елена сначала почувствовала симпатию к нему за то, что он добрый и все о деле говорит. Она даже совестится перед ним своего невежества, по тому случаю, что он все приносит ей книги, которых она читать не может. Но совершенно привязаться к нему, отдать ему свою душу, свою судьбу она не может: она еще прежде, чем увидела Инсарова, инстинктивно поняла, что Берсенов не то, чего ей нужно. И действительно, можно с достоверностью утверждать,

¹ Тимофей Николаевич — Грановский (см. примеч. на стр. 19).

что Берсенева струсил бы, если б Елена вздумала навязаться ему на шею, и непременно убежал бы под разными, весьма благовидными предложениями.

Впрочем, на безлюдье, в котором жила Елена, она увлеклась было на минуту Берсеневым и уже спрашивала себя: не он ли тот, кого так давно и так жадно ждала душа ее, кто должен был вывести ее из всех недоумений и указать ей путь деятельности? Но сам же Берсенева привел к ней Инсарова, и очарование исчезло...

В Инсарове, строго говоря, нет ничего чрезвычайного. Берсенева и Шубин, и сама Елена, и, наконец, даже автор повести характеризуют его все более отрицательными качествами. Он никогда не лжет, не изменяет своему слову, не берет займы денег, не любит разговаривать о своих подвигах, не откладывает исполнения принятого решения, его слово не расходится с делом, и т. п. Словом, в нем нет тех черт, за которые должен горько упрекать себя всякий человек, имеющий претензию считать себя порядочным. Но, кроме того, он — болгар, питающий в душе страстное желание освободить свою родину, и этой мысли он предается весь, открыто и уверенно, в ней заключается конечная цель его жизни. Он не думает ставить свое личное благо в противоположность с своей жизненной целью; подобная мысль, столь естественная в русском ученом дворянине Берсенева, не может даже в голову прийти простому болгару. Напротив, он потому-то и хлопочет о свободе родины, что в этом видит свое личное спокойствие, счастье всей своей жизни; он бы оставил в покое поработенную родину, если б только мог найти удовлетворение себе в чем-нибудь другом. Но он никак не может понять себя отдельно от родины. «Как же это можно быть довольным и счастливым, когда свои земляки страдают? — думает он. — Как же может человек успокоиться, пока его родина поработена и угнетена? И какое занятие может быть для него приятно, если оно не ведет к облегчению участи бедных земляков?» Таким образом, он делает свое задушевное дело совершенно спокойно, без натяжек и фанфаронад¹, так же просто, как ест и

¹ Фанфаронада (франц.) — хвастливая выходка, похвальба, хвальство.

плет. Покамест ему приходится еще мало работать для прямого выполнения своей идеи; но что же делать? Ему приходится теперь и есть плохо и мало и даже иной раз голодать случается; но все-таки пища, хоть и скудная, составляет необходимое условие его существования. Так и освобождение родины: он учится в Московском университете, чтобы образоваться вполне и сблизиться с русскими, и в течение повести довольствуется покамест тем, что переводит болгарские песни на русский язык, составляет болгарскую грамматику для русских и русскую для болгар, переписывается со своими земляками и собирается ехать на родину — готовить восстание при первой вспышке восточной войны (действие повести в 1853 году). Конечно, это скудная пища для деятельного патриотизма Инсарова; но он свое пребывание в Москве и не считает еще настоящею жизнью, свою слабую деятельность не считает удовлетворительною даже для своего личного чувства. Он также живет накануне великого дня свободы свей родины, в которой существо его озарится сознанием счастья, жизнь наполнится и будет уже настоящей жизнью. Этого дня ждет он, как праздника, и вот почему не приходит ему в голову сомневаться в себе и холодно рассчитывать и взвешивать, сколько именно может он сделать и с каким великим мужем успеет поровняться. Будет ли он Тимофеем Николаичем или Иваном Ивановичем, — до этого ему решительно нет дела; придется ли быть номером первым или вторым, — он об этом и не думает. Он будет делать то, к чему влечет его натура; если натура у него такая, что других лучше не найдется, он станет первым номером, пойдет во главе; если найдутся люди крепче и смелее его, он пойдет за ними, и в обоих случаях останется неизменным и верным себе. Где стать и до чего дойти, — это определяют обстоятельства; но он хочет идти, он не может нейти, не потому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долг, а потому, что он умер бы, если бы ему нельзя было двинуться с места. В этом огромная разница между ним и Берсеневым. Берсенев тоже способен к жертвам и подвигам; но он похож при этом на великодушную девушку, которая для спасения отца решается на ненавистный брак. С затаенной болью и тяжелой покорностью судьбе ждет она дня свадьбы, и рада

была бы, если б что-нибудь ей помешало. Инсаров, напротив, дня своих подвигов, наступления своей самоотверженной деятельности ждет страстно и нетерпеливо, как влюбленный юноша ждет дня свадьбы с любимой девушкой. Одна только боязнь и тревожит его: как бы что-нибудь не расстроило, не отсрочило желанной минуты. Любовь к свободе родины у Инсарова не в рассудке, не в сердце, не в воображении: она у него во всем организме, и что бы ни вошло в него, все претворяется силою этого чувства, подчиняется ему, сливается с ним. Оттого, при всей обыкновенности своих способностей, при всем отсутствии блеска в своей натуре, он стоит неизмеримо выше, действует на Елену несравненно сильнее и обаятельнее, нежели блестящий Шубин и умный Берсенева, хотя оба они тоже люди благородные и любящие. Елена делает о Берсеневе очень меткое замечание в своем дневнике (на который вообще автор не пожалел своего глубокомыслия и остроумия): «Андрей Петрович, может быть, учнее его (Инсарова), может быть даже умнее... Но, я не знаю, — *он перед ним такой маленький*».

Рассказывать ли историю сближения Елены с Инсаровым и любви их? Кажется, не нужно. Вероятно, наши читатели хорошо помнят эту историю; да ведь этого и не расскажешь. Нам страшно прикоснуться своей холодной и жесткой рукою к этому нежному поэтическому созданию; сухим и бесчувственным пересказом мы боимся даже профанировать чувство читателя, непременно возбуждаемое поэзией тургеневского рассказа. Певец чистой, идеальной женской любви, г. Тургенев так глубоко заглядывает в юную, девственную душу, так полно охватывает ее и с таким вдохновенным трепетом, с таким жаром любви рисует ее лучшие мгновения, что нам в его рассказе так и чуется — и колебание девственной груди, и тихий вздох, и увлажненный взгляд, слышится каждое биение взволнованного сердца, и наше собственное сердце млеет и замирает от томного чувства, и благодатные слезы не раз подступают к глазам, и из груди рвется что-то такое, — как будто мы свиделись с старым другом после долгой разлуки или возвращаемся с чужбины к родимым местам. И грустно и весело это ощущение: там светлые воспоминания детства, невозвратно мелькнувшего, там гордые и радостные надежды юности,

там идеальные, дружные мечты чистого и могучего воображения, еще не смиренного, не, униженного испытаниями житейского опыта. Все это прошло и не будет больше; но еще не пропал человек, который хоть в воспоминании может вернуться к этим светлым грезам, к этому чистому, младенческому упоению жизнью, к этим идеальным, величавым замыслам и — содрогнуться потом, при взгляде на ту грязь, пошлость и мелочность, в которой проходит его теперешняя жизнь. И благо тому, кто умеет пробуждать в других такие воспоминания, вызвать такое настроение души... Талант г. Тургенева всегда был силен этою стороною, его повести постоянно производили своим общим строем такое чистое впечатление, и в этом, конечно, заключается их существенное значение для общества. Не чуждо этого значения и «Накануне» в изображении любви Елены. Мы уверены, что читатели сумеют и без нас оценить всю прелесть тех страстных, нежных и томительных сцен, тех тонких и глубоких психологических подробностей, которыми рисуется любовь Елены и Инсарова с начала до конца. Вместо всякого рассказа мы напомним только дневник Елены, ее ожидания, когда Инсаров должен был притти проститься, сцену в часовенке, возвращение Елены домой после этой сцены, ее три посещения к Инсарову, особенно последнее¹, потом про-

¹ Есть люди, которых воображение до того засалено и развращено, что в этой прелестной, чистой и глубоко нравственной сцене полного, страстного слияния двух любящих существ они увидят только материал для сладострастных представлений. Судя обо всех по себе, они возопиют даже, что эта сцена может иметь дурное влияние на нравственность, ибо возбуждает нечистые мысли. Но пусть их вопиют: ведь есть люди, которые и при виде Венеры Милосской* ощущают лишь чувственное раздражение и при взгляде на Мадонну говорят с приапической улыбкой: «а она... того... годится...» Но не для этих людей — искусства и поэзия, да не для них и истинная нравственность. В них все претворяется во что-то отвратительно-нечистое. Но дайте прочитать эти сцены невинной, чистой сердцем девушке, и поверьте, ничего, кроме самых светлых и благородных помыслов, не вынесет она из этого чтения. (Примеч. Добролюбова.)

* Венера, или Афродита, Милосская — одна из статуй богини красоты и любви в древней Греции, работы неизвестного мастера (II век до н. э.), найденная на острове Милосе в 1820 году; находится в Луврском музее (Париж).

шанье с матерью, с родиной, отъезд, наконец последнюю прогулку ее с Инсаровым по Canal Grande, слушанье Травиаты и возвращение. Это последнее изображение особенно сильно подействовало на нас своей строгой истиной и бесконечно-грустной прелестью; для нас это самое задушевное, самое симпатичное место всей повести.

Предоставляя самим читателям насладиться припоминанием всего развития повести, мы обратимся опять к характеру Инсарова, или, лучше, к тому отношению, в каком стоит он к окружающему его русскому обществу. Мы уже видели, что он здесь почти не действует для достижения своей главной цели; только раз видим мы, что он уходит за 60 верст для примирения поссорившихся земляков, живших в Троицком посаде, да в конце его пребывания в Москве упомянуто, что он разъезжал по городу и видался украдкой с разными лицами. Да разумеется, — ему и нечего было делать, живя в Москве: для настоящей деятельности нужно было ехать ему в Болгарию. И он поехал туда, но на дороге смерть застигла его, и деятельности его мы так и не видим в повести. Из этого ясно, что сущность повести вовсе не состоит в представлении нам образа гражданской, то есть общественной доблести, как некоторые хотят уверить. Тут нет упрека русскому молодому поколению, нет указания на то, каков должен быть гражданский герой. Если бы это входило в план автора, то он должен был бы поставить своего героя лицом к лицу с самым делом — с партиями, с народом, с чужим правительством, с своими единомышленниками, с вражеской силой... Но автор наш вовсе не хотел, да, сколько мы можем судить по всем его прежним произведениям, и не в состоянии был бы написать героическую эпопею. Его дело совсем другое: из всей «Илиады» и «Одиссеи» он присваивает себе только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсы, и далее этого не простирается. Давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров и в какую среду попал он, — г. Тургенев весь отдается изображению того, как Инсарова любят и что из этого происходит. Там, где любовь должна наконец уступить место живой гражданской деятельности, он прекращает жизнь своего героя и оканчивает повесть.

В чем же, стало быть, смысл появления *болгара* в этой истории? Что тут значит болгар, почему не русский? Разве между русскими уже и нет таких натур, разве русские неспособны любить страстно и решительно, неспособны очертя голову жениться по любви? Или это просто прихоть авторского воображения и в ней не нужно отыскивать никакого особенного смысла? «Взял, мол, себе болгара, да и кончено; а мог бы взять и цыгана, и китайца, пожалуй...»

Ответ на эти вопросы зависит от воззрения на весь смысл повести. Нам кажется, что болгар, действительно, здесь мог быть заменен, пожалуй, и другою национальностью — сербом, чехом, итальянцем, венгром, — но только не поляком и не русским. Почему не поляком, об этом, разумеется, и вопроса быть не может; а почему не русским, — в этом заключается весь вопрос, и мы постараемся ответить на него, как умеем.

Дело в том, что в «Накануне» главное лицо — Елена, и по отношению к ней должны мы разбирать другие лица. В ней сказалась та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество, и даже не одно только так называемое образованное. В Елене так ярко отразились лучшие стремления нашей современной жизни, а в ее окружающих так рельефно выступает вся несостоятельность обычного порядка той же жизни, что невольно берет охота провести обстоятельный параллель. Тут все пришлось бы на месте: и не злой, но пустой и тупо важничавший Стахов в соединении с Анной Васильевной, которую Шубин называет курицей, и немка-компаньонка, с которой Елена так холодна, и сонливый, но по временам глубокомысленный Увар Иванович, которого волнует только известие о контрбомбардоне, и даже благовидный лакей, доносящий на Елену отцу, когда уже все дело кончено... Но подобные параллели, несомненно доказывающие игривость воображения, становятся натянуты и смешны, когда уходят в большие подробности. Поэтому мы удержимся от подробностей и сделаем лишь несколько самых общих замечаний.

Развитие Елены основано не на большой учености, не на обширном опыте жизни; лучшая, идеальная сторо-

на ее существа раскрылась, выросла и созрела в ней при виде кроткой печали родного ей лица, при виде бедных, больных и угнетенных, которых она находила и видела всюду, даже во сне. Не на подобных ли впечатлениях выросло и воспиталось все лучшее в русском обществе? Не характеризуется ли у нас каждый истинно порядочный человек ненавистью ко всякому насилию, произволу, притеснению и желанием помочь слабым и угнетенным? Мы не говорим: «*дейтельностью* в защиту слабых от обиды сильных», потому что этого нет, но именно *желанием*, совершенно так, как у Елены. Мы тоже рады сделать и доброе дело, когда оно заключает в себе только положительную сторону, то-есть не требует никакой борьбы, не предполагает никакого стороннего противодействия. Мы подадим милостыню, сделаем благотворительный спектакль, пожертвуем даже частью своего достояния в случае нужды; но только чтобы этим дело и ограничилось, чтобы нам не пришлось хлопотать и бороться с разными неприятностями из-за какого-нибудь бедного или обиженного. «Желание деятельного добра» есть в нас, и силы есть; но боязнь, неуверенность в своих силах и, наконец, незнание: что делать? — постоянно нас останавливают, и мы, сами не зная как, вдруг оказываемся в стороне от общественной жизни, холодными и чуждыми ее интересам, точь-в-точь как Елена в окружающей ее среде. Между тем желание попрежнему кипит в груди (говорим о тех, кто не старается искусственно заглушить это желание), и мы всё ищем, жаждем, ждем... ждем, чтобы нам хоть кто-нибудь объяснил, что делать. С болью недоумения, почти с отчаянием пишет Елена в своем дневнике: «О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да это главное в жизни! *Но как делать добро?*» Кто из людей нашего общества, сознающих в себе живое сердце, мучительно не задавал себе такого же вопроса? Кто не признавал жалкими и ничтожными все те формы деятельности, в которых проявлялось, по мере сил, его желание добра? Кто не чувствовал, что есть что-то другое, высшее, что мы даже и могли бы сделать, да не знаем, как приняться надобно... И где же разрешение сомнений? Мы томительно, жадно ищем его в светлые минуты своего суще-

ствования, и нигде не находим. Все окружающее, кажется нам, или томится тем же недоумением, как и мы, или загубило в себе человеческий образ и сузило себя до преследования только своих мелких, эгоистических, животных интересов. И так, день изо дня, проходит жизнь, пока она не умерла в сердце человека, и день изо дня ждет живой человек: не будет ли завтра лучше, не разрешится ли завтра сомнение, не явится ли завтра тот, кто скажет нам, как делать добро...

Эта тоска ожидания давно уже томит русское общество, и сколько раз уже ошибались мы, подобно Елене, думая, что жданный явился, и потом охладевали. Елена страстно привязалась было к Анне Васильевне; но Анна Васильевна оказалась ничтожною, бесхарактерною.. Почувствовала было расположение к Шубину, как наше общество одно время увлекалось художественностью; но в Шубине не оказалось дельного содержания, одни блестящие и капризы; а Елене не до того было, чтобы, посреди ее исканий, любоваться игрушками. Увлеклась на минуту серьезною наукою в лице Берсенева; но серьезная наука оказалась скромною, сомневающеюся, выжидающею первого номера, чтобы пойти за ним. А Елене именно нужно было, чтобы явился человек, не нумерованный и не выжидающий себе назначения, а самостоятельно и неодолимо стремящийся к своей цели и увлекающий к ней других. Таким-то наконец явился перед нею Инсаров, и в нем-то нашла она осуществление своего идеала, в нем-то увидела возможность ответа на вопрос: как ей делать добро.

Но почему же Инсаров не мог быть русским? Ведь он в повести не действует, а только собирается на дело; это и русский может. Характер его тоже возможен и в русской коже, особенно в таких проявлениях. Он проявляется в повести тем, что любит сильно и решительно; но неужели невозможно и это для русского человека?

Все это так, и все-таки сочувствие Елены, такой девушки, как мы ее понимаем, не могло обратиться на русского человека с тем правом, с тою естественностью, как обратилось оно на этого болгара. Все обаяние Инсарова заключается в величии и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. Елена, жаждущая

деятельного добра, но не знающая, как его делать, мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, рассказом о его замыслах. «Освободить свою родину, — говорит она: — эти слова и выговорить страшно — так они велики!» И она чувствует, что слово ее сердца найдено, что она удовлетворена, что выше этой цели нельзя поставить себе и что на всю ее жизнь, на всю ее будущность достанет деятельного содержания, если только она пойдет за этим человеком. И она старается всмотреться в него, ей хочется проникнуть в его душу, разделить его мечты, войти в подробности его планов. А в нем только и есть постоянная, слитая с ним, идея родины и ее свободы; и Елена довольна, ей нравится в нем эта ясность и определенность стремлений, спокойствие и твердость души, могучесть самого замысла и она скоро сама делается эхом той идеи, которая его одушевляет. «Когда он говорит о своей родине, — пишет она в своем дневнике, — он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, пред кем бы он глаза опустил. И он не только говорит, он делал и будет делать. Я его спрошу...» Через несколько дней она опять пишет: «А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Димитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тог уж ни за что не отвечает. Не я *хочу*, *то* *хочет*». И понявши это, она сама хочет слиться с ним так, чтобы уже *не она* хотела, а *он*, и *то*, что его одушевляет. И мы очень хорошо понимаем ее положение; уверены, что и все русское общество хотя еще и не увлечется, подобно ей, личностью Инсарова, но поймет возможность и естественность чувства Елены.

Мы говорим: общество не увлечется само, и основываем это предположение на том, что этот Инсаров все еще нам чужой человек. Сам г. Тургенев, столь хорошо изучивший лучшую часть нашего общества, не нашел возможности сделать его *нашим*. Мало того, что он вывез его из Болгарии, он недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как человека. В этом, если хотите

смотреть даже на литературную сторону, главный художественный недостаток повести. Мы понимаем одну из важных причин его, не зависящих от автора, и потому не делаем упрека г. Тургеневу. Но, тем не менее, бледность очертаний Инсарова отражается на самом впечатлении, производимом повестью. Величие и красота идей Инсарова не выставляются перед нами с полной силою, чтобы мы сами прониклись ими и в гордом одушевлении воскликнули: идем за тобою! А между тем идея эта так свята, так возвышенна... Гораздо менее человеческие, даже просто фальшивые идеи, горячо проповеданные в художественных образах, производили лихорадочное действие на общество; Карлы Мооры, Вертеры¹, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаров их не вызовет. Правда, что и мудро было ему выказаться вполне с своей идеей, живя в Москве и ничего не делая: ведь не в риторических же разглагольствиях упражняться! Но мы из повести мало узнаем его и как человека; его внутренний мир недоступен нам; для нас закрыто, что он делает, что думает, чего надеется, какие испытывает перемены в своих отношениях, как смотрит на ход событий, на жизнь, несущуюся перед его глазами. Даже любовь его к Елене остается для нас не вполне раскрытою. Мы знаем, что он полюбил ее страстно; но как это чувство вошло в него, что в ней привлекло его, на какой степени было это чувство, когда он его заметил и решился было удалиться, — все эти внутренние подробности и многие другие, которые так тонко, так поэтически умеет рисовать г. Тургенев, остаются темными в личности Инсарова. Как живой образ, как лицо действительное, Инсаров от нас чрезвычайно далек, и вот почему «Накануне» производит на публику такое слабое, даже отчасти неблагоприятное впечатление, сравнительно с прежними повестями г. Тургенева, где являлись характеры, до тонкости изученные и живо прочувствованные автором. Мы понимаем, что Инсаров должен быть хороший человек и что Елена могла полюбить его со всей силой души своей, потому что она видела его в жизни, а не в повести, но для нас он близок и

¹ Карл Моор — герой драмы Ф. Шиллера «Разбойники»; Вертер — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера».

дорог только как представитель идеи, которая поражает и нас, как Елену, мгновенным светом и озаряет мрак нашего существования. Поэтому-то мы и понимаем всю естественность чувства Елены к Инсарову, поэтому-то и сами, довольные его непреклонною верностью идее, не замечаем, на первый раз, что он обозначается перед нами лишь в бледных и общих очертаниях.

И еще хотят, чтоб он был русский! «Нет, он не мог бы быть русским», восклицает сама Елена в ответ на явившееся было сожаление, что он не русский. И действительно, таких русских не бывает, не должно и не может быть, в настоящее время, по крайней мере. Не знаем, как развиваются и разовьются новые поколения, но те, которые мы видим теперь действующими, развивались вовсе не так, чтобы могли уподобиться Инсарову. На развитие каждого отдельного человека имеют влияние не только его частные отношения, но и вся общественная атмосфера, в которой суждено ему жить. Иная развивает героические тенденции, другая — мирные наклонности; иная раздражает, другая — убаюкивает. Русская жизнь сложилась так хорошо, что в ней все вызывает на спокойный и мирный сон, и всякий бессонный человек кажется, не без основания, беспокойным и совершенно лишним для общества. Сравните, в самом деле, обстоятельства, при которых начинается и проходит жизнь Инсарова, с обстоятельствами, встречающими жизнь каждого русского человека.

Болгария порабощена, она страдает под турецким игом. Мы, слава богу, никем не порабощены, мы свободны, мы — великий народ, не раз решавший своим оружием судьбы царств и народов; мы владеем другими, а нами никто не владеет...

В Болгарии нет общественных прав и гарантий. Инсаров говорит Елене: «Если б вы знали, какой наш край благодатный. А между тем его топчут, его терзают, у нас все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут...» Россия, напротив того, государство благоустроенное, в ней существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность.

Церквей ни у кого не отнимают и веры не стесняют решительно ничем, а напротив, поощряют ревность проповедников в обличении заблудших; прав и земель не только не отнимают, но еще даруют их тем, кто не имел доселе; в виде стада никого не гоняют.

«В Болгарии, — говорит Инсаров, — последний мужик, последний нищий и я — мы желаем одного и того же: у всех одна цель». Такой монотонности вовсе нет в русской жизни, в которой каждое сословие, даже каждый кружок живут своей отдельной жизнью, имеют свои особые цели и стремления, свое установленное назначение. При существующем у нас благоустройстве общественном, каждому остается только упрочивать собственное благосостояние, для чего вовсе не нужно соединяться с целой нацией в одной общей идее, как это происходит в Болгарии.

Инсаров был еще младенцем, когда турецкий ага похитил его мать и потом зарезал, а отец его был расстрелян за то, что, желая отомстить аге, поразил его кинжалом. Когда и кого из русских людей могли встретить в жизни подобные впечатления? Слыхано ли что-нибудь подобное в русской земле? Конечно, уголовные преступления везде возможны; но у нас, если бы какой-нибудь ага и похитил и убил или уморил потом чужую жену, так мужа и до отмщения бы не допустили, ибо у нас есть законы, для всех равные и нелицеприятно наказывающие преступление.

Словом, Инсаров с молоком матери всасывает ненависть к порабощателям, недовольство настоящим порядком вещей. Ему не нужно напрягать себя, не нужно доходить долгим рядом силлогизмов до того, чтобы определить направление своей деятельности. Как скоро он не ленив и не трус, он уже знает, что ему делать и как вести себя; разбрасываться ему некуда. Да и задача-то у него *удобопонятная*, как говорит Шубин: «Стоит только турок вытурить — велика штука!» И Инсаров знает, притом, что он прав в своей деятельности, не только перед собственной совестью, но и перед людским судом: его замыслы найдут сочувствие во всяком порядочном человеке. Представьте же теперь что-нибудь подобное в русском обществе: неудобопредставимо... В русском переводе Инсаров выйдет не что иное, как разбойник,

представитель «противообщественного элемента», о котором русская публика знает очень хорошо из ученых исследований г. Соловьева, сообщенных «Русским Вестником»¹. Кто же, спрашивается, может полюбить такого? Какая благовоспитанная и умная девушка не побежит от него с ужасом?

Понятно ли теперь, почему не может быть русский на месте Инсарова? Натуры, подобные ему, рождаются, конечно, и в России в немалом количестве, но они не могут так беспрепятственно развиваться и так беззащитно проявлять себя, как Инсаров. Русский современный Инсаров всегда останется робким, двойственным, будет таиться, выражаться с разными прикрытиями и экивоками...² а это-то и уменьшает доверие к нему. Выйдет, пожалуй, даже иной раз, что он лжет и противоречит себе; а известно, что люди лгут обыкновенно из выгоды либо из трусости. Какое же сочувствие можно питать к корыстолюбцу и трусу, особенно когда душа томится жаждою дела и ищет мощной головы и руки, которая бы повела ее?

Бывают, правда, и у нас небольшие герои, несколько похожие на Инсарова отвагою и сочувствием к угнетенным. Но они в нашей среде являются смешными Дон-Кихотами. Отличительная черта Дон-Кихота — непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий — удивительно ярко выступает в них. Они, например, вдруг вообразят, что надо спасти крестьян от произвола помещиков: и знать того не хотят, что никакого произвола тут нет, что права помещиков строго определены законом и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существуют, и что восстановить крестьян собственно против этого произвола значит, не избавивши их от помещика, подвергнуть еще наказанию по закону. Или, например, зададут себе работу: спасти невинных от судебной неправды, — как будто бы у нас судьи по своему произволу так и делают, что хотят. Дела у нас все, как известно, вершатся по закону, а чтобы рас-

¹ Возможно, что Добролюбов имеет в виду одну из статей буржуазного историка С. Соловьева, опубликованных в журнале «Русский вестник» за 1859 год.

² Экивоки — намеки, увертки.

толковать закон так или иначе, — на это не героизм нужно, а привычка к судебским изворотам. Вот Дон-Кихоты наши и возьмется попусту... А то выдумают вдруг взятки искоренять — и уж какая тут мука пойдет бедным чиновникам, берущим гривенник за какую-нибудь справку! Со свету сгонят их наши герои, принимающие на себя защиту страждущих. Оно, конечно, благородно и высоко; да можно ли сочувствовать этим неразумным людям? И ведь мы еще говорим не о тех холодных служителях долга, которые поступают таким образом просто по обязанности службы; мы имеем в виду русских людей, действительно искренно сочувствующих угнетенным и готовых даже на борьбу для их защиты! И эти-то выходят бесполезны и смешны, потому что не понимают общего значения той среды, в которой действуют. Да и как им понять, когда они сами-то в ней находятся, когда верхушки их тянутся вверх, а корень все-таки прикреплен к той же почве? Они хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители. Как же тут быть? Всю эту среду перевернуть — так надо будет повернуть и себя; а подите-ка, сядьте в пустой ящик да и попробуйте его повернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас! — между тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком. Инсаров именно тем и берет, что не сидит в ящике; притеснители его отечества — турки, с которыми он не имеет ничего общего; ему стоит только подойти да и толкнуть их, насколько силы хватит. Русский же герой, являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с тем, на что должен восставать. Он находится в таком положении, в каком был бы, например, один из сыновей турецкого аги, вздумавший освободить Болгарию от гурок. Трудно даже предположить такое явление; но если бы оно случилось, то, чтобы сын этот не представлялся нам глупым и забавным малым, нужно, чтобы он отрекся уж от всего, что его связывало с турками: — и от веры, и от национальности, и от круга родных и друзей, и от житейских выгод своего положения. Нельзя не согласиться, что это ужасно трудно и что подобная решительность требует несколько другого развития, нежели какое

обыкновенно получает сын турецкого аги. Не много легче дается геройство и русскому человеку. Вот отчего у нас симпатичные, энергические натуры и удовлетворяют себя мелкими и ненужными бравадами¹, не достигая до настоящего, серьезного героизма, то-есть до отречения от целой массы понятий и практических отношений, которыми они связаны с общественной средою. Робость их перед громадою противных сил отражается даже на теоретическом их развитии: они боятся или не умеют доходить до корня и, задумывая, например, карать зло, только и бросаются на какое-нибудь мелкое проявление его и утомляются страшно, прежде чем успевают даже подумать об его источнике. Не хочется им поднять руки на то дерево, на котором и они сами выросли; вот они и стараются уверить себя и других, что вся гниль его только снаружи, что только счистить ее стоит, и все будет благополучно. Выгнать из службы несколько взяточников, наложить опеку на несколько помещичьих имений, обличить целовальника, в одном кабаке продавшего дурного качества водку, — вот и воцарится правосудие, крестьяне во всей России будут благоденствовать, и откупа сделаются превосходною вещью для народа. Так искренно думают многие, и действительно тратят все свои силы на подобные подвиги, и за то не шути считают себя героями.

Нам рассказывали об одном подобном герое, человеке, как говорили, чрезвычайно энергическом и талантливом. Еще будучи в гимназии, он затеял дело с одним гувернером по тому поводу, что он утаивает бумагу, назначаемую для выдачи воспитанникам. Дело пошло как-то неловко; герой наш умел задеть и инспектора и директора и был исключен из гимназии. Стал он готовиться в университет, а между тем принялся давать уроки. При одном из первых же уроков он заметил, что мать детей, которых он учил, ударила по щеке свою горничную. Он вспыхнул, поднял в доме гвалт, привел полицию и формально обвинил хозяйку дома в жестоком обращении с прислугой. Потянулось следствие, в котором он ничего, разумеется, не мог доказать, и его чуть

¹ Б р а в а д а — показная, легкомысленная храбрость, бесцельная дерзкая выходка.

не присудили к строгому наказанию за ложное показание и клевету. Уроков после этого он уж не мог достать. Определился с большим трудом, по чьей-то особенной милости на службу: дали ему переписать какое-то решение очень нелепого свойства; он не вытерпел и заспорил; ему сказали, чтоб молчал, — он не послушался; ему велели убираться вон. От нечего делать, принял он приглашение одного из своих бывших товарищей — ехать с ним на лето в деревню; приехал, увидал, что там делается, да и принялся толковать — и своему товарищу, и отцу его, и даже бурмистру и мужикам — о том, как незаконно больше трех дней на барщину крестьян гонять, как непозволительно сечь их без всякого суда и расправы, как бесчестно таскать по ночам крестьянских женщин в барский дом, и т. п. Кончилось тем, что мужиков, которые его с участием послушали, перепороли, а ему старый барин велел запретить лошадей и попросил его не являться больше в их краях, если хочет цел остаться. Кое-как переколотившись лето, герой наш с осени поступил в университет, благодаря тому, что на экзамене попадались ему всё вопросы не зазорные, на которых нельзя было разгуляться и заспорить. Поступил он на медицинский факультет и занимался действительно хорошо; но в практическом курсе, когда профессор у кровати больного объяснял свою премудрость, он никогда не мог удержаться, чтобы не *оборвать* отсталого или шарлатанящего профессора: как только тот соврет что-нибудь, так он и пойдет ему доказывать, что это чепуха. Вследствие таких выходов герой наш не оставлен при университете, не послан за границу, а назначен в какой-то отдаленный госпиталь. Здесь он на первых же порах уличил смотрителя и грозил на него жаловаться; потом, в другой раз, поймал и пожаловался, за что получил выговор от главного доктора; получая выговор, он, конечно, очень крупно поговорил и вскоре был переведен из госпиталя... Досталось ему вслед за тем провоять какую-то партию; он принялся шуметь за солдат с начальником партии и с чиновником, заведовавшим продовольствием. Видя, что слова не помогают, написал рапорт, что солдаты недоедают и недопивают по милости чиновника и что начальник партии этому потакает. По прибытии на место — следствие; до-

прашивают солдат, те говорят: довольны; герой наш приходит в негодование, говорит дерзости генерал-штаб-доктору и месяц спустя разжалывается в фельдшерские помощники. Пробывши две недели в этой должности и не выдержав нарочито зверского обращения с ним, он застреливается.

Не правда ли — явление необыкновенное, сильная, порывистая натура? А между тем посмотрите, на чем гибнет он. Во всех его поступках нет ничего такого, что бы не составляло прямой обязанности всякого честного человека на его месте; а ему нужно, однако, много героизма, чтобы поступать таким образом, нужна самоотверженная решимость гибнуть за добро. Спрашивается теперь: если уж в нем есть эта решимость, то не лучше ли воспользоваться ею для дела большого, которым бы действительно достигалось что-нибудь существенно полезное? Но в том-то и беда, что он не сознает надобности и возможности такого дела и не понимает того, что его окружает. Он не хочет видеть круговой поруки во всем, что делается перед его глазами, и воображает, что всякое замеченное им зло есть не более как злоупотребление прекрасного установления, возможное лишь как редкое исключение. При таких понятиях русские герои только и могут, разумеется, ограничиваться мизерными частностями, не думая об общем, тогда как Инсаров, напротив, частное всегда подчиняет общему, в уверенности, что «и то не уйдет». Так, в ответ на вопрос Елены, отмстил ли он убийце своего отца, Инсаров говорит: «Я не искал его. Я не искал его не потому, чтобы я не мог убить его, — я бы очень спокойно убил его, — но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет». Вот в этой любви к общему делу, в этом предчувствии его, которое дает силу спокойно выдерживать отдельные обиды, и заключается великое превосходство болгара Инсарова пред всеми русскими героями, у которых общего дела-то и в помине нет.

Впрочем, и подобных-то героев у нас очень немного, да и из них большая часть не выдерживает себя до конца. Гораздо многочисленнее в нашем образованном обществе другой разряд людей — занимающихся размышлениями. Из этих тоже есть много таких, которые хоть и

размышляют, но ничего не умеют понять; но об этих мы не говорим. Мы хотим указать только на тех, действительно с светлою головою людей, которые путем долгих сомнений и исканий дошли до того же единства и ясности идеи, с какими является перед нами, без всяких особенных усилий, Инсаров. Эти люди понимают, где корень зла, и знают, что надо делать, чтобы зло прекратить; они глубоко и искренно проникнуты мыслью, до которой добились наконец. Но — в них нет уже силы для практической деятельности; они столько ломали себя, что натура их как-то надсела и обессилела. Они с сочувствием смотрят на приближение новой жизни, но сами идти ей навстречу не могут, и ими не может удовлетворяться свежее чувство человека, жаждущего деятельного добра и ищущего себе руководителя.

Никто из нас не берет готовыми человеческих понятий, во имя которых нужно потом вести жизненную борьбу. Оттого ни в ком и нет той ясности, той цельности воззрений и действий, которые так естественны, хоть бы, например, в Инсарове. У него впечатления жизни, действующие на сердце и пробуждающие его энергию, постоянно подкрепляются требованиями рассудка, всем теоретическим образованием, которое он получает. У нас совершенно наоборот. Один из наших знакомых, держащийся передовых мнений и сгорающий тоже жаждою деятельного добра, но человек кротчайший и безвреднейший в мире, вот что рассказывал нам о своем развитии, в объяснение своей теперешней бездеятельности.

«По натуре своей, — говорил он, — я был мальчик очень добрый и впечатлительный. Я бывало плакал и метался, слушая рассказ о каком-нибудь несчастье, я страдал при виде чужого страдания. Помню, что я не спал ночи, терял аппетит и не мог ничего делать, когда кто-нибудь в доме был болен; помню, что не раз приходил я в некоторого рода бешенство при виде истязаний, какие чинил один мой родственник над своим сыном, моим приятелем. Все, что я видел, все, что слышал, развивало во мне тяжелое чувство недовольства; в душе моей рано начал шевелиться вопрос: да отчего же всё так страдает, и неужели нет средства помочь этому горю, которое, гажется, всех одолело? Я жадно искал ответа на эти вопросы, и скоро мне дали ответ, разумный и система-

тический. Я начал учиться. Первая пропись, которую я написал, была такова: «истинное счастье заключается в спокойствии совести». На расспросы мои о совести мне объяснили, что она карает нас за дурные поступки и награждает за хорошие. Все мое внимание устремилось теперь на то, чтобы узнать, какие поступки хороши, какие дурны. Это было нетрудно: кодекс нравственности был готов — и в прописях, и в домашних наставлениях, и в особом курсе. «Почитай старших», «Не надейся на свои силы, ибо ты — ничто», «Будь доволен тем, что имеешь, и не желай большего», «Терпением и покорностью приобретается любовь общая», и пр., в таком роде писал я в прописях. Дома и от всех окружающих слышал я то же самое; а в разных курсах узнал я, что совершенного счастья на земле не может быть, но что насколько оно возможно, настолько достигнуто в благоустроенных государствах, из которых наилучшее есть мое отечество. Я узнал, что Россия теперь не только велика и обильна, но что и порядок в ней господствует самый совершенный; что стоит только исполнять законы и приказания старших да быть умеренным, и тогда полнейшее благополучие ожидает человека, какого бы он ни был звания и состояния. Отрадны мне были все эти открытия, и я жадно ухватился за них, как за лучшее решение всех моих сомнений. Вздумал было я поверять их моим неопытным умом, но многое пришлось мне не под силу, а что оказывалось доступным, то выходило так, верно. И вот я доверчиво и восторженно предался новооткрытой системе, в ней заключил все свои стремления и лег двенадцати был уже маленьким философом и страшным партизаном законности. Я дошел до того убеждения, что во всяком несчастии виноват сам человек — или тем, что не поберегся, не остерегся, или тем, что не хотел довольствоваться малым, или тем, что не проникнут достаточным уважением к закону и к воле старших. Собственно закон я еще не совсем хорошо представлял себе, но он олицетворялся для меня во всяком начальстве и старшинстве. Оттого в этот период моей жизни я постоянно стоял за учителей, начальников и т. д. и был очень любим начальством и старшими классами. Раз меня чуть не выкинули в окно товарищи: один учитель сказал целому классу: «свиньи

вы!»; все пришли в азарт по окончании класса, а я принялся защищать учителя и доказывать, что он имел полное право сказать это. В другой раз исключен был один из наших товарищей за грубость начальству; все жалели о нем, потому что он был лучший между нами, но я утверждал, что он наказание вполне заслужил, и очень удивлялся, как он, будучи таким умным мальчиком, не мог понять, что покорность старшим есть первый долг наш и первое условие счастья. Так с каждым днем укреплялся я в своих понятиях законности и мало-помалу привыкал смотреть на большинство людей только как на орудие исполнения высших приказаний. Вместе с тем я порывал живую связь с душою человека, я перестал тревожиться бедствиями своих собратий, перестал отыскивать возможность облегчить их. «Сами виноваты», говорил я про себя и стал даже питать к ним не то злобу, не то презрение, как к людям, не умеющим пользоваться спокойно и смиренно теми благами, которые им предлагаются по силе общественного благоустройства. Все, что было доброго в моей натуре, обратилось в другую сторону — к поддержанию прав старших над нами. Я чувствовал, что в этом заключается самоотвержение, отречение от собственной самостоятельности, убежден был, что делаю это в видах общей пользы, и считал себя чуть не героем. Я знаю, что многие так и остаются на этой степени, а другие ее видоизменяют слегка и уверяют, что они совсем переменялись. Но мне, к счастью, действительно пришлось переменить свое направление довольно рано. Лет четырнадцати я сам имел уже старшинство кое над чем — и в классе и в доме и, разумеется, оказался при этом очень плох. Я умел делать все, что от меня требовали, но что и как мне требовать — этого я не знал. При всем том я был суров и неподступен. Но скоро мне стало совестно, и я принялся верить свои прежние понятия о начальстве. Поводом к этому был один случай, пробудивший опять живые ощущения в моем мертвевшем сердце. Как старший брат и умница, я учил, между прочим, одну из сестер моих. Мне дано было право присуждать ей наказания за леность и ослушание и пр. Раз она что-то была рассеяна и никак не хотела понять моих толкований; я велел ей стать на колени. Она тотчас собралась с мыслями и, принявши внимательный вид,

стала просить, чтобы я повторил еще раз свои слова. Но я потребовал, чтоб она прежде исполнила приказание — стала на колени; она заупрямилась. Тогда я схватил ее за руки, поднял с места, потом положил ей свои локти на плечи и изо всех сил надавил вниз. Бедная девочка опустилась на колени и взвизгнула: у ней свихнулась нога при этом движении. Я очень испугался; но когда мать стала бранить меня за такое обхождение с сестрой, я очень хладнокровно старался доказать, что она сама виновата, что если б она тотчас послушалась моего приказания, то ничего бы этого и не было. Однакоже втайне я мучился, тем более что сестру свою я очень любил. В это время выяснилась мне мысль, что ведь и старшие могут быть неправы и делать нелепости и что уважать нужно собственно закон, как он есть, а не как проявляется в толкованиях того или другого лица. Тут пошла у меня критика действий лиц, и я из консервативной безответственности стремительно перескочил в *opposition légale*¹. Но долгое время я приписывал все дурное одним только частным злоупотреблениям и нападал на них — не во имя насущных потребностей общества, не из сострадания к несчастным братьям, а просто во имя положительного закона. В то время я, конечно, с жаром стал бы говорить против жестокого обращения с неграми, но, подобно некоему московскому публицисту, от всей души обвинил бы Брауна², совершенно противозаконно вздумавшего освобождать негров. Однако я был еще тогда очень молод (вероятно, моложе почтенного публициста), мысль моя двигалась и бродила; я не мог остановиться на этом и, после многих соображений, дошел наконец до сознания, что и законы могут быть несовершенны, что они имеют относительное, временное и частное значение и должны подлежать переменам с течением времени и по требованиям обстоятельств. Но опять, во имя чего так рассуждал я? Во имя высшего, отвлеченного закона справедливости, а вовсе не по внушению живого чувства любви к братьям, вовсе не по сознанию тех прямых, настоятельных надобностей, которые указываются иду-

¹ *Opposition légale* (франц.) — легальная оппозиция.

² Браун Джон (1800—1859) — борец за освобождение негров в США; был казнен за организацию восстания.

щею перед нами жизнью. И что же? Вот я сделал и последний шаг: от отвлеченного закона справедливости я перешел к более реальному требованию человеческого блага; я все свои сомнения и умствования привел наконец к одной форме: человек и его счастье. Но ведь эта формула была в душе моей еще в детстве, прежде чем я начал обучаться разным наукам и писать назидательные прописи. И — сказать ли? — теперь я ее лучше понимаю и осповательнее могу доказать; но тогда я чувствовал ее сильнее, она более была связана с моим существом, и даже, кажется, я готов был тогда больше сделать для нее, чем теперь. Я стараюсь теперь не делать ничего противоречащего сознannому мною закону, стараюсь не отнимать счастья у людей; но этой пассивной ролью я и ограничиваюсь. Броситься на поиск счастья, приблизить его к людям, разрушить все, что ему мешает, — это я мог бы только тогда, если бы мои детские чувства и мечты беспрепятственно развились и окрепли. А между тем они глохли и умирали во мне лет пятнадцать, и только теперь я снова возвращаюсь к ним и нахожу их бледными, тощими, слабыми. Мне еще нужно восстанавливать их, прежде чем употреблять в дело; да и кто знает, удастся ли восстановить?»...

Нам кажется, что в этом рассказе есть черты далеко не исключительные, а напротив, могущие служить общим указанием на те препятствия, какие встречает русский человек на пути самостоятельного развития. Не все с одинаковою силою привязываются к морали прописей, но никто не уходит от ее влияния, и на всех она действует парализующим образом. Чтобы избавиться от нее, человек должен много сил потерять и много утратить веры в себя при этой непрерывной возне с безобразной путаницей сомнений, противоречий, уступок, изворотов и т. п.

Таким образом, кто сохранил у нас силу на героизм, так тому незачем быть героем, цели настоящей он не видит, взявшись за дело не умеет и потому только донкихотствует. А кто понимает, что нужно и как нужно, так тот уже всего себя на это понимание и положил, и в практической деятельности шагу ступить не умеет, и сторонится от всякого вмешательства, как Елена в домашней среде. Да еще Елена все-таки смелее и свободнее, потому что на нее подействовала только общая атмосфера русской жиз-

ни, но, как мы сказали уже, не наложила своей печати рутинна¹ школьного образования и дисциплины.

Из всего этого и выходит, что наши лучшие люди, каких мы видали до сих пор в современном обществе, только что способны понять жажду деятельного добра, сжигающую Елену, и могут оказать ей сочувствие, но никак не сумеют удовлетворить этой жажды. И это еще передовые, это еще называются у нас «деятели общественные». А то большая часть умных и впечатлительных людей бежит от гражданских доблестей и посвящает себя различным музам. Хоть бы те же Шубин и Берснев в «Накануне»: славные натуры, и тот и другой умеют ценить Инсарова, даже стремятся душою вслед за ним; если им немножко другое развитие да другую среду, они бы тоже не стали спать. Но что же им делать тут, в этом обществе? Перестроить его на свой лад? Да ладу-то у них нет никакого и сил-то нет. Починивать в нем кое-что, отрезывать и отбрасывать понемножку разные дрязги общественного устройства? Да не противно ли у мертвого зубы вырывать, и к чему это поведет? На это способны только герои вроде господ Паншинных² и Курнатовских.

Кстати — здесь можем мы сказать несколько слов о Курнатовском, тоже одном из лучших представителей русского образованного общества. Это новый вид Паншина, только без светских и художественных талантов и более деловой. Он очень честен и даже великодушен; в доказательство его великодушия Стахов, прочавший его в женихи Елене, приводит факт, что он, как только достиг возможности безбедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец. Вообще в нем много хорошего: это признает даже Елена, изображающая его в письме к Инсарову. Вот ее суждения, по которым одним только мы и можем составить понятие о Курнатовском: он в ходе повести не участвует. Рассказ Елены, впрочем, так полон и меток, что больше нам ничего и

¹ Рутинна — в данном случае: рабское следование заведенному шаблону, консервативность.

² Паншин — один из персонажей романа «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева.

не нужно, и потому, вместо перифраза¹, мы прямо приведем ее письмо к Инсарову:

«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вчера у нас обедал; папенька познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курпатовский. Он служит обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильные, он коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быстрые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то: точно она у него держится. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело делает. «Как она его изучила!» думаешь ты, может быть, в эту минуту. Да; для того, чтобы описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В чем есть что-то железное — и тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он, точно, очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях: говорят, он в них толк знает и чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом Шубин заговорил о театре; г. Курпатовский объявил и — я должна сознаться — без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала: нет, *мы* с Дмитрием все-таки иначе не понимаем художества. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и к *comme il faut* он, впрочем, довольно равнодушен: он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие. Я подумала: если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось. А этот пускай себе говорит! пусть хвастается! Со мною он был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то *есть правила* — это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то-есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках.

— Я понимаю, — сказал он: — что во многих случаях берущий взятку не виноват: он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула:

— Раздавить невиноватого!

— Да, ради принципа.

— Какого? — спросил Шубин.

¹ Перифраза, или парафраза (греч.), — в данном случае: изложение чужого текста.

Курнатовский не то смеялся, не то удивился и сказал:

— Этого нечего объяснять.

Папаша, который, кажется, благоговееет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего — и, к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенеv и вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и т. д., а между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот смотрит на все это как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал: «Вот этот и некто другой (он твоего имени произнести не может) — оба практические люди, а посмотрите, какая разница: там настоящий, живой, жизнью данный идеал, а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность без содержания». Шубин умен, и я для тебя запомнила его слова, а по-моему, что же общего между вами? Ты *веришь*, а тот нет, потому что только в самого себя *верить нельзя*.

Елена сразу поняла Курнатовского и отозвалась о нем совсем благосклонно. А между тем, взгляните в этот характер и припомните своих знакомых деловых людей, с честью подвизающихся для пользы общей; наверно, многие из них окажутся хуже Курнатовского, а найдутся ли лучшие — за это поручиться трудно. А все отчего? Именно оттого, что жизнь, среда не делает нас ни умными, ни честными, ни деятельными. И ум, и честность, и силы к деятельности мы должны приобретать из иностранных книжек, которые притом нужно еще согласить и соразмерить со сводом законов. Немудрено, что за этой трудной работой холодеет сердце, замирает все живое в человеке, и он превращается в автомата, мерно и неизменно совершающего то, что ему следует. И все-таки опять повторись: это еще лучше. Там, за ними, начинается другой слой: с одной стороны, совсем сонные Обломы, уже окончательно потерявшие даже обаяние красноречия, которым пленяли барышень в былое время, с другой — деятельные Чичиковы, неусыпные, неустанные, героические в достижении своих узеньких и гаденьких интересцев. А еще дальше возвышаются Брусковы, Большовы, Кабановы, Уланбековы¹, и все это злое племя предъясля-

¹ Брусковы, Большовы, Кабановы, Уланбековы — представители «темного царства» самодержавной России 50-х годов в пьесах А. Н. Островского: купцы Тит Титыч Брускоv («В чужом пиру похмелье», 1856) и Большов («Свои люди — сочтемся», 1850), купчиха Кабанова («Гроза», 1860), помещица Уланбекова («Воспитанница», 1859).

ет свои права на жизнь и волю русского люда... Откуда тут взяться героизму, а если и народится герой, так где набраться ему света и разума для того, чтобы не пропасть его силе даром, а послужить добру да правде? И если наберется наконец, то где уж геройствовать надломленному и надорванному, где уж грызть орехи беззубой белке? Лучше же и не обольщаться понапрасну, лучше выбрать себе какую-нибудь отвлеченную, далекую от жизни специальность да и зарыться в ней, заглушая недостойное чувство невольной зависти к людям, живущим и знающим, зачем они живут.

Так и поступили в «Накануне» Шубин и Берсенеv. Шубин расхотелся было, узнавши о свадьбе Елены с Инсаровым, и начал: «Инсаров... Инсаров... К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя; да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну, хоть я, разве дрянь? Разве бог меня так-таки всем и обидел?» и пр... И тотчас же свернул, бедняк, на искусство: «Может, говорит, и я со временем прославлюсь своими произведениями...» И точно — он стал работать над своим талантом, и из него замечательный ваятель выходит. И Берсенеv, добрый, самоотверженный Берсенеv, так искренно и радушно ходивший за больным Инсаровым, так великодушно служивший посредником между ним, своим соперником, и Еленой, — и Берсенеv, это золотое сердце, как выразился Инсаров, — не может удержаться от ядовитых размышлений, убедившись окончательно во взаимной любви Инсарова и Елены. «Пусть их! — говорит он. — Недаром мне говаривал отец: мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, мы — труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет. И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!» Каким адом зависти и отчаяния веют эти несправедливые попреки, — неизвестно кому и за что!.. Кто ж виноват во всем, что случилось? Не сам ли Берсенеv? Нет, русская жизнь виновата: «кабы были у нас путные люди, по выражению Шубина, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду». А людей путных или непутных делает жизнь, общий

строй ее в известное время и в известном месте. Строй нашей жизни оказался таков, что Берсеневу только и осталось одно средство спасения: «иссушать ум наукою бесплодной». Он так и сделал, и ученые очень хвалили, по словам автора, его сочинения: «О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний» и «О значении городского начала в вопросе цивилизации». И еще благо, что хоть в этом мог найти спасение...

Вот Елене — так не оставалось никакого ресурса в России после того, как она встретила с Иссаровым и поняла иную жизнь. Оттого-то она не могла ни остаться в России, ни возвратиться в нее одна, после смерти мужа. Автор очень хорошо умел понять это и предпочел лучше оставить ее судьбу в неизвестности, нежели возвратить ее под родительский кров и заставить доживать свои дни в родной Москве, в тоске одиночества и бездействия. Призыв родной матери, дошедший до нее почти в ту самую минуту, как она лишалась мужа, не смягчил ее отвращения от этой пошлой, бесцветной, бездейственной жизни. «Вернуться в Россию? Зачем? Что делать в России?» написала она матери и отправилась в Зару, чтобы потеряться в волнах восстания.

И как хорошо, что она приняла эту решимость! Что, в самом деле, ожидало ее в России? Где для нее там цель жизни, где жизнь? Возвратиться опять к несчастным котяткам и мухам, подавать нищим деньги, не ею выработанные и бог знает как и почему ей доставшиеся, радоваться успехам в искусстве Шубина, трактовать о Шеллинге с Берсеневым, читать матери «Московские Ведомости» да видеть, как на общественной арене подвизаются *правила* в виде разных Курнатовских, — и нигде не видеть настоящего дела, даже не слышать веяния новой жизни, и понемногу, медленно и томительно вянуть, хиреть, замирать... Нет, уж если раз она попробовала другой жизни, дохнула другим воздухом, то легче ей броситься в какую угодно опасность, нежели осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь... И мы рады, что она избегла нашей жизни и не оправдала на себе эти безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещения поэта, так постоянно и беспощадно

оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России:

Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои молодые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои.
И жизнь твоя пройдет незрима
В краю безлюдном, безмянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном
В осенней беспредельной мгле...¹

Нам остается свести отдельные черты, разбросанные в этой статье (за неполноту и нескладность которой просим извинения у читателей), и сделать общее заключение.

Иисаров, как человек, сознательно и всецело проникнутый великой идеей освобождения родины и готовый принять в ней деятельную роль, не мог развиться и проявить себя в современном русском обществе. Даже Елена, так полно умевшая полюбить его и так слиться с его идеями, и она не может оставаться среди русского общества, хотя там — все ее близкие и родные. Итак, великим идеям, великим сочувствиям нет еще места среди нас?.. Все героическое, деятельное должно бежать от нас, если не хочет умереть от бездействия или погибнуть напрасно? Не так ли? Не таков ли смысл повести, разобранный нами?

Мы думаем, что нет. Правда, для широкой деятельности нет у нас открытого поприща; правда, наша жизнь проходит в мелочах, в плутнях, интрижках, сплетнях и подличанье; правда, наши гражданские деятели лишены сердца и часто крепколобы; наши умники палец о палец не ударят, чтобы доставить торжество своим убеждениям, наши либералы и реформаторы отправляются в своих проектах от юридических тонкостей, а не от стона и вопля несчастных братьев. Все это так, и все это видно от-

¹ Стихотворение Ф. И. Тютчева (1803—1873) «Русской жепцине», напечатанное в журнале «Киевлянин» в 1850 году, а в 1854 году — в журнале «Современник».

части и в «Накануне», как в десятках других повестей последнего времени. Но мы все-таки думаем, что *тенерь* в нашем обществе есть уже место великим идеям и сочувствиям и что недалеко время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле.

Дело в том, что как бы ни была плоха наша жизнь, но в ней уже оказалась возможность таких явлений, как Елена. И мало того, что такие характеры стали возможны в жизни, они уже охвачены художническим сознанием, внесены в литературу, возведены в тип. Елена — лицо идеальное, но черты ее нам знакомы, мы ее понимаем, сочувствуем ей. Что это значит? То, что основа ее характера — любовь к страждущим и притесненным, желание деятельного добра, томительное искание того, кто бы показал, как делать добро — все это наконец чувствуется в лучшей части нашего общества. И чувство это так сильно и так близко к осуществлению, что оно уже не обольщается, как прежде, ни блестящим, но бесплодным умом и талантом, ни добросовестной, но отвлеченной ученостью, ни служебными добродетелями, ни даже добрым, великодушным, но пассивно-развитым сердцем. Для удовлетворения нашего чувства, нашей жажды нужно более: нужен человек, как Инсаров, — но русский Инсаров.

На что ж он нам? Мы сами говорили выше, что нам не нужно героев-освободителей, что мы народ владетельный, а не порабощенный...

Да, извне мы ограждены, да если б и случилась внешняя борьба, то мы можем быть спокойны. У нас для военных подвигов всегда было довольно героев, и в восторгах, какне донские испытывают барышни от офицерской формы и усиков, можно видеть неоспоримое доказательство того, что общество наше умеет ценить этих героев. Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними, и разве не требуется геройства для этой борьбы? А где у нас люди, способные к делу? Где люди цельные, с детства охваченные одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно — или доставить торжество этой идее, или умереть? Нет таких людей, потому что наша общественная среда до сих пор не благоприятствовала их развитию. И вот от нее-то, от этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас но-

вые люди, которых появления так нетерпеливо и страстно ждет все лучшее, все свежее в нашем обществе.

Трудно еще явиться такому герою: условия для его развития и особенно для первого проявления его деятельности — крайне неблагоприятны, а задача гораздо сложнее и труднее, чем у Инсарова. Враг внешний, притеснитель привилегированный гораздо легче может быть застигнут и побежден, нежели враг внутренний, рассеянный повсюду в тысяче разных видов, неуловимый, неуязвимый, а между тем тревожащий вас всюду, отравляющий всю жизнь вашу и не дающий вам ни отдохнуть, ни осмотреться в борьбе. С этим внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно избавиться, только переменявши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, и вырос, и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может.

Возможно ли это? Когда это возможно? Из этих вопросов можно отвечать категорически только на первый. Да, это возможно, и вот почему. Мы говорили выше о том, как наша общественная среда подавляет развитие личностей, подобных Инсарову. Но теперь мы можем сделать дополнение к своим словам: среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможет явлению такого человека. Вечная пошлость, мелочность и апатия не могут же быть законным уделом человека, и люди, составляющие общественную среду нашу и закованные в ее условия, давно уже поняли всю тяжесть и нелепость этих условий. Одни скучают, другие рвутся всеми силами куда-нибудь, только бы избавиться от этого гнета. Разные исходы придумывались, разные средства употреблялись, чтобы чем-нибудь оживить мертвость и гнилость нашей жизни; но все это было слабо и недействительно. Наконец теперь появляются уже такие понятия и требования, какие мы видим в Елене; требования эти принимаются обществом с сочувствием; мало того — они стремятся к деятельному осуществлению. Это значит, что уж старая общественная рутинка отживает свой век; еще несколько колебаний, еще несколько сильных слов и благоприятных фактов — и явятся деятели!

Выше мы намекнули, что решимость и энергию силь-

ной природы убивает у нас еще в самом начале то идиллическое восхищение всем на свете, то расположение к ленивому самодовольству и сонному покою, которое встречает каждый из нас, еще ребенком, но всем окружающем и к которому его тоже стараются приучить всевозможными советами и наставлениями. Но в последнее время и это условие сильно изменилось. Везде и во всем заметно самосознание, везде понята несостоятельность старого порядка вещей, везде ждут реформ и исправлений, и никто уже не убаюкивает своих детей песнью о том, какое непостижимое совершенство представляет современный порядок дел в каждом уголке России. Напротив, теперь каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего, а не привязываясь насильно к трупу отжившего прошедшего. Когда придет их черед приняться за дело, они уже внесут в него ту энергию, последовательность и гармонию сердца и мысли, о которых мы едва могли приобрести теоретическое понятие.

Тогда и в литературе явится полный, резко и живо очерченный образ русского Инсарова. И не долго нам ждать его: за это ручается то лихорадочное, мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он наконец, этот день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. С. Тургенев</i> Накануне	3
Приложение	
<i>Н. А. Добролюбов.</i> Когда же придет настоя- щий день	159

Художник Б. ТИТОВ

Для средней школы

Ответственный редактор *А. Титов*. Художественный редактор *П. Суворов*.
Технический редактор *Н. Самохвалова*. Корректоры *С. Локшина* и
Р. Мишелевич.

Подписано к печати 10/V 1949 г. 13½ п. л. (11,0 уч.-изд. л.). А01259.

Отпечатано с матриц в типографии фабрики Детской книги Москва.

0-40